Н. М. СЕМЕНТОВСКИЙ

КОЧУБЕЙ

Николай Максимович Сементовский
Кочубей
Серия «Россия державная»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28751030
Кочубей: Мир книги; Москва; 2011
ISBN 978-5-486-03749-8

Аннотация

Воспитанник Нежинского лицея, писатель Николай Максимович Сементовский (1819–1879) родился на Полтавщине. Всю жизнь служил чиновником в различных государственных организациях и при этом занимался литературной деятельностью. С переездом в Петербург Сементовский начинает активно сотрудничать в журналах; особенно в «Иллюстрации», издаваемой его однокашником Н. В. Кукольником, где поместил несколько исследований по истории и археологии родного края. Из наиболее значимых его произведений можно назвать драму «Нищий» (1843), роман «Баронесса Флагсберг» (1848), исторические романы «Кочубей» (1845), «Потемкин» (1851) и др.

В данном томе представлен роман «Кочубей», повествующий о судьбе украинского государственного и военного деятеля Левобережной Украины Василия Леонтьевича Кочубея. Узнав о тайных переговорах гетмана Мазепы со шведским королем Карлом XII и польским королем Станиславом Лещинским с

целью отделения Украины от России, Кочубей несколько раз предупреждал Петра I о готовившейся измене. Однако царь, доверяя гетману, счел эти сведения клеветой и выдал Мазепе бежавших в Россию Кочубея и его единомышленника полковника Искру, которые после пыток были казнены.

Н. М. Сементовский
Кочубей

© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010

* * *

I

Утренний туман покрыл седой пеленой спящую Диканьку; казалось, море разлилось во все стороны безпредельно. Кое-где лишь виднелись зеленые вершины столетних дубов, выступавшие из седого тумана, казавшиеся черными утесами; да блестел среди этого моря золотой крест Диканской церкви. Солнце еще не всходило, и восток только что начал румяниться.

В будинках Генерального писаря Василия Леонтиевича Кочубея все спали, не спал только он, да жена его, Любовь Федоровна; они сидели вдвоем у растворенного в сад окна, и печаль ясно выражалась на их лицах. Долго сидели они молча; потом Любовь Федоровна поправила белый платок, которым была повязана ее голова, и сказала:

– Почем знать, может быть, первая пуля попадет в его

сердце, ты этого не знаешь… да, может, и умрет не сегодня завтра: в походе не на лежанке сидеть, – ну да что и говорить: будь умный, так и добудешь, а ворон ловить начнешь, так сам на себя пеняй! Тогда, сделай милость, и не показывайся мне на глаза, иди себе куда хочешь, живи себе как вздумаешь! Лучше одно горе перенести, чем весь свой век терпеть и посмешищем быть для других.

– Любовь Федоровна, Любовь Федоровна! – укоризненно сказал Кочубей, покачав головой. – Что ты говоришь, подумай сама, тебе хочется, чтоб сейчас булава, бунчуки и все у ног твоих лежало!.. Любонько, Любонько!.. Когда Бог не даст, человек ничего не сделает!..

– Я тебе не татарским языком говорю, как начнешь ловить ворон, так Бог и ничего вовек не даст!

– А! – воскликнул Кочубей, вскочив с кресла и махнув рукой. – Что говорить! Ты знаешь, я бы последний кусок хлеба отдал, лишь бы булава в моих руках была!.. Ты сама знаешь, да что и говорить!..

– Я тебе говорю на всякий случай, чтоб знал свое дело!

– Да разве я не знаю?

– Да, случается!

– Когда же?

– Было, да прошло, чтоб не было только вперед. Прошу тебя и заклинаю, Василий, не надейся ни на кого, сам ухитряйся да умудряйся, не жалей ни золота, ничего другого, побратайся со всеми полковниками, со всеми обозными, есау-

лами, угощай казаков, ласкай гетмана, – вот и вся мудрость!

– Добре, добре!

– То-то, смотри же! Пора, солнце всходит, я приготовила тебе на дорогу всего, и в бричку надобно укладывать?..

– Да, пора!

– Пойду разбужу людей.

Любовь Федоровна ушла; Василий Леонтиевич встал перед иконами и начал молиться; молитва его была кратка, торопліва, но горяча; он не хотел, чтобы Любовь Федоровна видела его молящимся, и, поспешно перекрестясь несколько раз, сделал земной поклон и опять сел на свое место. В ту же минуту в спальню вошла Любовь Федоровна.

– Давно все готово, коней повели до воды, и сейчас будут запрягать.

– Слава Господу.

– Я тебе на дорогу приказала положить в бричку святой воды, херувимского ладана, просфиру святую и кусок дарника, сделаешься нездоров, – в дороге все может случиться – вот и напьешься святой воды, съешь кусочек святого, и Бог тебя помилует…

– Спасибо, Любонько!

Василий Леонтиевич поцеловал ее руки, а Любовь Федоровна поцеловала его в голову.

В спальню вошла девочка и сказала, что коней запрягли.

– Скажи, чтоб принесли Мотреньку, – велела ей Любовь Федоровна.

Девка ушла.

Василий Леонтиевич встал, помолился и приложился ко всем иконам, Любовь Федоровна сделала то же; они прошли в другие комнаты, везде помолились и приложились к иконам; и потом все собрались в гостиную и сели, воцарилось молчание. Василий Леонтиевич встал, а за ним и все, он три раза перекрестился и, обратясь к жене, перекрестил ее, жена перекрестила Василия Леонтиевича, и они попрощались. Потом Василий Леонтиевич благословил спавшую на руках у мамки малютку Мотреньку, крестницу Ивана Степановича Мазепы, поцеловал ее, простился со всеми, принял от Любови Федоровны хлеб-соль, вышел на рундук, еще раз поцеловался с женою и сел в кибитку.

Любовь Федоровна перекрестила едущих. Бричка покатила по улице между маленькими низенькими хатами… и скоро скрылась вдали.

II

Степь, беспредельная как дума и гладкая как море, покрытая опаленною знойным солнцем травою, простиралась во все стороны и далеко-далеко, казалось, сходилась с голубым небом, на котором не было ни одного облачка. Солнце стояло среди неба и рассыпало палящие лучи свои. Тысячи кузнечиков не умолкая пронзительно кричали в сухой траве, а перепелка сидела под тенью шелковистого ковыля с рас-

крытым клювом от зноя и жажды.

В степи на курганах стояли казачьи пикеты: по три и более казаков с длинными пиками; иные из них, не двигаясь с места, смотрели вдаль, на дымку испарений, исходивших от земли, и были уверены в истине поверия отцов своих, утверждавших, что это святой Петр пасет свое духовное стадо; иные же разъезжали то в одну, то в другую сторону, высматривая, не покажется ли где ненавистный татарин.

Среди этой безграничной степи раскинут был казачий табор; полосатые, пурпурные, желтые, зеленые, белые шатры, – военная добыча казаков прежних лет, отнятая ими у турок и поляков, – были кое-как наскоро поставлены на воткнутые в землю пики. Вокруг шатров стояли рядами несколько тысяч возов, тяжело нагруженных разными военными и съестными припасами; возы эти служили в степи казакам и крепостными стенами.

Изнуренное невыносимым зноем войско отдыхало, дожидая вечерней зари, чтобы вновь двинуться в глубь Крымских степей и наказать неугомонных татар.

В одном месте несколько сот казаков, спрятав головы в тень, под возы, беспечно спали; в другом, под навесом, толпились вокруг седого старца бандуриста, который играл на бандуре, пел про старые годы, про Наливайка, спаленного поляками, про Богдана и Чаплинского; в третьем курили люльки и слушали сказки, в четвертом… да не перечесть, что делали несколько десятков тысяч храбрых казаков.

Шум, крик, ржание жаждущих коней, звуки литавр и бубнов не умолкали ни на минуту.

Направо от табора, в четверти версты, виднелись два вершника; они ездили в ту и в другую сторону, то приближались к табору, то скрывались за горизонтом.

Сторожевые казаки не обращали на них внимания; то *наши*! – говорили они между собою и были спокойны. Поездив по степи, вершники приблизились мало-помалу к табору; их легко можно было рассмотреть: один из них был лет сорока двух, роста среднего, лицом смугл и сухощав, большие черные сросшиеся брови, нависшие над узкими, также черными, ярко горевшими глазами, делали выражение лица его суровым, гордым и вместе с тем проницательным; повисшие черные с проседью усы прикрывали чуть усмехающиеся уста. Казак был виден и красив собою; на нем был жупан светло-зеленой шелковой материи, вышитый на груди золотыми снурками; палевые шелковые шаровары так широки и длинны, что не только закрывали красные его чёботы на высоких серебряных каблуках, но, когда он стоял на земле, казалось, что он одет в женскую юбку; по застегнутому стану повязан широкий, розового бархата пояс с вышитым золотом гербом Гетманщины, на поясе турецкая сабля с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями; за поясом два пистолета, оправленные серебром; конь у него белый, арабский.

Другой казак роста немного повыше среднего, лицо хоть и полное, но бледное; черные большие глаза, нос прямой, усы

черные, из-под бархатной красной шапки, опушенной соболем, виднелись как смоль черные волосы, закрывавшие почти до самых бровей широкий его лоб. Шелковый, стального цвета жупан, также обшитый золотым снурком; розового цвета шаровары и, как у первого казака, красного сафьяна сапоги с серебряными подковками; через плечо на золотой цепи висел кинжал; на зеленом бархатном поясе золотая сабля с длинною золотою кистью; конь у него был вороной.

– Так, мой наимилейший кум, так! – сказал казак, сидевший на белом коне.

Василий Леонтиевич поморщился, приподнял правой рукой шапку, а левой почесал затылок и сказал:

– Когда так, так и так!

– Да таки-так!

– Да все что-то не так! А нечего делать, надобно кончать, когда начали.

– Пора, кум, давно пора кончать, кипит да кипит вода, скоро и вся выбежит, если не отставишь от огня горшок.

– Да когда же кончать?

– Да завтра, если не сегодня, а лучше сегодня!

– Завтра!..

– Все завтра да завтра… чего будем ожидать? Полковники согласны, Голицын его не любит, казаки – что нам!.. Это не те годы, когда всякий кричал, кого хотел; теперь не то: кого мы захотели, тот и гетман!..

– Все лучше подождать до поры до времени.

– Ждать да ждать, и умрем, так все будем ждать; нет, видно, Василий Леонтиевич, не хочешь ты сам себе добра, видно, для тебя тяжка булава! А жаль, ты истинным батьком был бы для всех казаков; не хочешь сам носить булаву, так кого изберешь, тому и отдашь.

– Пане кум, не говори этого, ты в славе у московских воевод и бояр, тебя уважают цари; а я – писарь, мне не дадут булаву, и если не тебе, так кому другому, а все не мне!

– Кому другому? Мне или тебе! Я не возьму. Цари хотят, чтобы я жил в Москве; скажу тебе как наилюбезнейшему, наиближайшему другу, я не хотел бы ехать в Московщину, да что ж будешь делать, знаешь, кум, не хочет коза на торг, так силою поведут; нет, кум, ни кого не выберут, кроме тебя.

– Кум, тяжко, тяжко, крепко тяжко слушать мне слова твои, что я не хочу сам себе добра, что я гетмана уважаю!.. Нет, кум, нет, не такая думка в голове моей: двадцать лет служил я ему, и что ж за это? До генерального писаря дослужился, – очень много, не вмещу всего и в мешок! – нет, я докажу тебе, что и сам сумею держать в руках булаву, раз ее держал нечестивый чабан Самуйлович. Пусть паны полковники говорят, что я живу жиночим умом, что жена управляет мною, пусть говорят, что хотят, а я докажу, враг наш Самуйлович не будет гетманствовать, не будет!..

– Докажи, кум, докажи! И я твой товарищ и брат!

– Гетман пугало, что на горохе стоит; голова черепок, а не разумный человек!

– Так, кум, так, твоя правда!

– Знаю, что так!

– Куй же железо, пока оно красно!

– Будем ковать! Поедем до Дмитрия Григориевича, вот то голова!

– Поедем!

Мазепа и Кочубей поехали к табору. Подстрекаемый, с одной стороны, безотвязными докуками жены, умной, но властолюбивой, а с другой медоточивыми словами хитрого Мазепы, добрый, лихой, но неустойчивый в своем характере, истый казак Кочубей, страстный охотник, как и многие из украинцев, позываться и доносить, наперекор внутренним обличениям своего сердца, свыкся наконец с обольстительною мыслию – быть гетманом и решился, по наущениям Мазепы, действовать против Самуйловича. Простота не рассчитала, к чему приведет ее коварство!

Под одним пунцовым, с белыми полосами шатром, на турецком ковре, сидело в кружок пять человек полковников; они были почти все без жупанов, в одних только шальварах из красной, синей и зеленой нанки, повязанных кушаками, длинные концы которых с правого бока спускались до самых колен; перед ними лежал небольшой плоский бочонок, а на белой хустке с вышитыми красным шелком петушками стояли небольшие серебряные чарки. По углам шатра сложены были собольи и лисьи шубы, покрытые бархатом; несколько жупанов, ружей, пистолетов, две или три сабли, столько же

шапок, опушенных мехом, и разная другая одежда.

Смуглое лицо, нос как у коршуна, черные подбритые и подстриженные в кружок волосы, узкие глаза и длинные повисшие усы отличали одного из полковников, который время от времени пускал дым изо рта, куря люльку, и поправлял табак маленьким медным гвоздем, висевшим на ремешке, привязанном к коротенькому чубуку. Сидевший напротив него полковник, будто для противоположности с первым, был чрезвычайно красен лицом, волосы на голове белые, а усы и густые, нависшие на глаза брови черные. Полковник этот украдкою часто посматривал на прочих и в раздумье качал головою; остальные, склонив головы на руки, сидели задумавшись.

За шатром слышалась песенка казака, стоявшего на страже у полковничьего шатра, – он пел про Саву Чалого.

Ой, чим мини вас, панове,
Чим вас привитати?
Даровав мени Господь сына,
Буду в кумы брати.
Ой, мы не того до тебя пришли,
Щоб до тебе кумовати;
А мы с того до тебя пришли,
Щобы тебе разчитаты.

Полковники долго прислушивались к грустной песенке, потом краснолицый спросил полковника, смуглого лицом.

– Что ж ты это все думаешь, Дмитрий Григорьевич?

– Ничего!

– Как ничего?

– Да так-таки – ничего!

– Нет, не ничего!

– Что ж думать, пане Лизогуб?

– Если б воля наша, чего бы мы не сделали, паны полковники! – сказал старик полковник, у которого седые как лунь волосы только оставались на висках. – Так, паны полковники, правду я сказал?

– Так-таки-так, пане Солонино.

– Эге, что так?

– Да таки-так!

– Вот чего захотел полковник Солонино, воли! Воли захотел, да и не добро оно! – усмехаясь, сказал также седой полковник, у которого на носу и на левой щеке был рубец от турецких сабель, Степан Забела, и покрутил свои длинные седые усы. – Воли захотел! – повторил он громче прежнего, скидывая с себя малинового цвета, обшитый золотыми снурками суконный жупан. – Лови в степи ветра: поймаешь его за чуприну, пане Солонино – добудешь и волю, а пока добудешь, кури люльку до вечера, а там будет тебе воля на всю ночь с полком в Крым поспешать к зичливым приятелям твоим татарам.

– Тяжко, крепко тяжко, да что ж делать, паны полковники! – сказал Дмитрий Григорьевич Раич.

– Что делать будем? – спросил пан Лизогуб. – Бродить по степям, пока ветер не навеет татарву, а навеет, так уже известно вам, паны полковники, что делать с татарвою; а не знаете что – так спросите московского великого пана Голицына, он недалеко от нас, – и научит, так что и чуприна будет мокра, да в другой раз зато и носа не покажешь ему; а не то, спроси у гетмана, и то человек разумный, только жалко – не своим умом живет, а московским!..

– Гей! Гей! Да молчи, пане Лизогуб, пусть им обоим лиха година, на что ты беду накликаешь на свою седую голову, посмотри на меня: я все молчу, да жду лучшего, делай ты так, и добре будет!

– Молчать, все молчать, пане Степан, нет, не такое время пришло, чтоб молча сидели и слова не сказали, когда кто прийдет до нас да скажет: «Клади, пане полковник, голову под секиру, я отрубю ее ни за то ни за се, а так, чтобы не было у тебя ее на плечах!» – Нет, пане Солонино, ты первый противиться будешь этому, сам первый не положишь голову под секиру, всякому воля своя дорога, всякий бережет и голову, и жизнь, и добро свое!

– Обождите немного, неделю-другую походим по степям, враг принесет татарву, повеселеет сердце, посватаются саблюки наши с татарскими головами, и горе забудем!

– Что ты говоришь, пане Раич, до конца света скоро дойдем, а все проклятой татарвы не будет! – сказал Солонина.

– Нет, пане Раич, видно, татары знают, где раки-то зиму-

ют! Не видать, кажется, нам их, как не видать своего затылка; это не богдановские годы, не Виговский гетманует, не полезут теперь до нас: не одни наши гарматы страшны им, и московских боятся; пронюхали, что и москали просятся в гости до них; а москали, правду сказать, не наши братики-казаки, что пальнет с рушници да с пистоля, кольнет списом, махнет саблюкою – да и поминай как звали! И собаками не найдешь казака в степи, так улепетнет в Гетманщину до жены да до детей. Нет, паны полковники, минулось, что было, не воротятся старые годы, не будем и мы молодыми. Ох-ох-ох!.. Покрути свои седые усы, погладь чуприну, когда голова не лыса, посмотри, остра ли твоя сабля, цела ли рушница, да и не думай больше ни о чем, перекрестись вставая и ложась, что голова твоя на плечах, а что будет завтра, о том и не думай, а о жене и детях не вспоминай, словно бы их у тебя никогда и не было! – сказал Лизогуб.

– А все кто виноват, паны полковники?.. Подумайте сами, кто всему причиною? Старый гетман! Правду так правду резать: гетман всему виною, Генеральная старшина все знает и подтверждает, а мы так как воды в рот набрали.

– Твоя правда, Дмитрий Григорьевич, гетман всему причиною, а все от чего? – от того, что слушает москалив, водится с москалями, одних москалив как черт болото знает. А мы ему что? – посмотрит на нас, махнет рукою, вот и все наше, мы ему не паны-браты.

– Так-так, пане Лизогуб, крепко гетман наш набрался мос-

ковского духа, старый уже, пора ему и в домовину, – а все еще не туда смотрит, пора ему и в… Да что ж делать, хоть бы одумался!

– Одуматься! Пане Забело, одуматься гетману; ты слышал, что рассказывал пан Кочубей, что подтвердил и пан есаул Мазепа, слышал?

– Да, слышал!

– Ну то-то, так не говори, враг знает чего!

– Слово твое правдивое, пане Раич, правду говорят и паны старшина: есаул и писарь; ну, писарь, хоть себе и так, легонький на язык, любит и прибавить, такая его уже натура, а Иван Степанович у нас голова, не гетманской чета, нет; да и у московских царей таких людей немного найдется, человек письменный, всякого мудрого проведет, набожный, правдивый и ко всякому почтителен, за то и Бог его не оставит, меньше казакует, чем Кочубей, да уже Генеральный есаул, а погляди, чего доброго, десяток лет не пройдет, и булаву отдадут ему, это так!

– А что пан есаул говорил? – спросил Лизогуб.

– Что говорил? Говорил, что гетман такой думки, если бы и все войско казачье пропало от жару или без воды, так жалеть не будет, а приехавши в Батурин, до всех икон по три свечки поставит и спокойно заживет себе с женою и детьми.

– Добрый гетман, грех после этого сказать, что он не аспид! – сказал Раич.

– Когда б ему сто пуль в сердце или сто стрел татарских в

рот влетело! – сердито сказал Солонина.

– Молчите, паны дорогие, генеральные паны есаул и писарь до нас идут! – сказал Забела.

Полковники замолчали.

– Идут, так и придут, паны добрые, так, паны полковники?

– Так, пане Раич!

– Что будет, то будет, а будет что Бог даст! А я тем часом налью себе чарочку меду, да за ваше здоровье, паны мои дорогие, хорошенько выпью; а когда захочете да не постыдитесь пить, так и вам всем налью!

Лизогуб взял бочонок и налил в свою, а потом и другие чарки меду, поднял чарку и сказал:

– А ну-те, почестуемся!

Дмитрашко, Раич, Забела и Солонина взяли чарки.

– Будьте здоровы, пане полковники!

– Будь здоров, пане полковник!

– Ну, чокнемся, паны!

Чарки ударились бок об бок и в одно время полковники осушили их до дна. Потом все они встали с ковра, кто успел – надел жупан и прицепил саблю, кто не успел, и так оставался, нимало не заботясь о своем одеянии.

– Доброго здоровья, мирного утешения, счастливого пребывания усердно вам желаю, паны полковники! – сказал Мазепа, кланяясь на обе стороны.

– И вам Господь Бог да пошлет, вельможный есаул, многая милости, временные и вечные блага! – отвечали полков-

ники, и все кланялись есаулу в пояс.

Поклонившись несколько раз Генеральному есаулу, полковник Раич обратился к Кочубею и сказал:

– Многия милости, покорнейше просим, пане писарь, пожалуйте! Здоровья и благоденствия широ все желаем.

Василий Леонтиевич кланялся на все стороны; полковники также низко откланивались; и потом, когда пан есаул сел на подложенную ему на ковре малинового бархата подушку, сел пан писарь, а за ним Раич, как хозяин, пригласил сесть и панов полковников.

Дмитрий Григорьевич громко позвал своего хлопца, и через несколько секунд вбежал под навес в красной куртке и в синих шальварах, с подстриженными выше ушей в кружок волосами, небольшой казачок.

– Хоменко, бегом мне принеси с обоза баклагу с венгерским!

Хоменко, выслушав приказание пана полковника, опрометью выбежал из-под шатра и побежал к обозу.

– О чем, паны полковники, беседовали? – ласково спросил Мазепа.

Некоторые из полковников тяжко вздохнули, другие язвительно улыбнулись, а полковник Лизогуб сказал:

– Про нашего гетмана, вельможный пане есаул!

– Эге, про гетмана! – сказал Забела и почесал затылок.

– Так-таки, вельможный пане, про нашего гетмана; что это он делает с нами, куда мы идем, зачем и для чего; миля или

две до речки Московки, а там Конския воды, а все нет того, что нужно; а казачество, Боже мой, Боже, мрет да мрет каждый день от жару и от безводья, а кони, а мы-то все!.. Что с этого всего будет?

– Что-нибудь да будет! – с лукавою усмешкою сказал Кочубей и искоса посмотрел на Мазепу.

– Может быть, и твоя правда, кум, не знаю, – отвечал Мазепа.

– Да будет-то будет, да что будет? – спросил Забела.

– А что будет? Помрем все от жару, а волки соберутся да нашим же мясом и поминать нас будут, а гетман поедет в Батурин.

Прочие полковники сидели задумавшись и тяжело вздыхали.

Хоменко, задыхаясь, вбежал в шатер и положил перед паном Раичем бочонок.

– Вот это лучше пить, паны старшина и полковники, чем горевать, давайте-ка сюда чарки!

Дмитрий Григорьевич собрал чарки в одно место, откупорил бочонок, наполнил и поднес прежде всех пану есаулу, потом пану писарю, а потом пригласил разобрать чарки полковников.

– Доброго здоровья, пане полковник, от широго сердца желаю тебе! – сказал есаул, и за ним, кланяясь, повторили это приветствие все прочие и осушили чарки.

– Еще по чарке, ласковые паны!

Все хвалили вино и подали свои чарки; Дмитрий Григорьевич наполнил их вновь и просил гостей пить.

Все выпили.

– Еще по чарке, паны мои добродийство!..

– Будет, будет, пане полковник, не донесем ног, будет стыдно, это не дома, а в таборе.

– Ничего, паны старшина и полковники, будьте ласковы, еще по чарке, по одной чарке.

– Нет, будет!

– Будет!

– Ну, по чарке, так и по чарке! – сказал Лизогуб и первый подал свою чарку.

Снова чарки наполнились и снова осушили их до капли.

Дмитрий Григорьевич не приглашал уже гостей подать ему чарки, молча он старался украдкою наполнять их, полковники нехотя отклоняли его от этого просьбами, но Раич успел налить все чарки.

Разговор оживился, иные из полковников говорили между собою, другие вмешивались, и в шатре зашумело веселие.

Когда гостеприимный полковник Раич в седьмой раз наливал осушенные до дна чарки, общий разговор склонился на гетмана Самуйловича: все осуждали его поступки, один Мазепа молчал и, когда обращались к нему с вопросом, двусмысленно отвечал:

– Так, паны полковники, так; да что ж делать?

– Что делать? – сказал Кочубей, осушая чарку. – Разве мы

дети, не знаем, что делать, когда нас всех хотят уморить! А донос в Москву? А начто от царей прислан Голицын? Ударим ему челом, вот и вся соломоновская мудрость.

Все были уже навеселе, но, услышав слова Кочубея, вдруг полковники замолчали; Мазепа окинул проницательным взором собрание.

– Как думаешь, пане есаул, справедлива речь моя?

– Не знаю, что сказать; всякое даяние благо и всяк дар совершен!

– Эге, что так! – воскликнул Кочубей, не разобрав слов Мазепы. – Зачем же вы, пане полковники, молчите, когда я указал вам прямую дорогу?

– Донос! Гм… гм – донос, пане писарь, да что ж будем доносить?

– Как что доносить, пане Солонино? Что знаем, все донесем, не будет у нас такого гетмана!

– А что знаем, пане писарь?

– Что знаем, пане полковник? Вот слушай меня, что знаем!

– А ну-те, пане писарь, послушаем, что скажете нам! – в одно слово сказали гости.

– Вы, паны полковники, разве не знаете, что гетман делает в ваших полках? Не при вас ли он приказывал казакам служить не московским царям, а ему, разве не при вас это деялось?

Все молчали.

– Вы этого не видали и не слыхали?

– Да так, пане писарь, да все оно что-то не так! – сказал Лизогуб.

– Не так! Ну, добро; а не продавал ли он за червонцы полковничьи уряды, не притеснял ли он Генеральных старшин, не ласкал ли он таких людей, которых и держать-то бы в Гетманщине совестно и грешно? Не грабил ли он все, что хотел? А что скажете и на это, паны?

– Так, пане писарь, есть и правда: не только забирал, что хотел, гетман, отнимали силою и его сыны, что хотели, – сказал Мазепа.

– То-то, паны полковники, а указ царский: отпускать в Польшу хлеб, исполнял он? Татарам посылал продавать, мы все знаем! Чего же ты, пане Дмитрий Григорьевич, сидишь, как сыч насупившись, не тебя ли гетман за святую правду хотел четвертовать, да Бог избавил от смерти, а ты еще молчишь, ты лучше нас знаешь про его нечестивые дела!..

– Пане писарь, я раз попробовал, да и будет с меня! Делайте, что начали, а я от вас не отстану и первый скажу слово за нового гетмана.

– То-то, что нового гетмана! – сказал Кочубей.

– Нового!

– Нового, да умного!

– Нового, так и нового! – с восторгом кричали все.

– Венгерского! – сказал Лизогуб и поспешно налил все чарки.

– Ну-те, паны, по чарке!

– Будьте здоровы! – сказали все и осушили чарки.

– Нового, так и нового! А старый пусть сидит с завязанными очами да болеет; недаром же говорил, что от этого похода и последнее его здоровье пропадет, а всему виною князь Голицын, – лучше, говорит гетман, в Москве бы сидел, да московския грани берег, а не в степь выступать.

– Когда нового, так кого же? – спросил Солонина.

– Известно кого! Генерального обозного Борковского; он человек правдивый, добрый! Хоть и скряга, да не наше дело, гетманом щедрый будет, – сказал Забела.

– Не быть ему гетманом, – сказал Лизогуб.

– Отчего так?

– Да так!

– Кто ж будет?

– Кто будет, тот будет, только не Борковский!

– Ну а Василий Леонтиевич, – сказал с усмешкою Раич и обеими руками погладил свою чуприну.

Кочубей встал, низко поклонился Раичу, а потом всем полковникам, сказал, что есть еще постарше его, и благодарил за предложенную честь.

– Ну когда не хочешь, пане писарь, и просить не будем! – сказал Лизогуб.

– Найдется и без меня достойный, хоть бы и Иван Степанович!

Мазепа низко кланялся и говорил, что честь эта для него

очень велика, что он не заслужил еще любви панов полковников, но сам их всех без души любит, готов голову отдать за всякого. И до этого будучи совершенно трезв, начал притворяться, будто бы хмелен.

– Я… я правдою служу Богу милосердому; известно, люблю вас, паны мои полковники, крепко люблю, люблю как родных братьев, а что будет дальше, то Бог даст; а пока жив буду, не перестану уважать и любить всех вас щирым сердцем; дайте же мне всякого из вас обнять и до своего сердца прижать, дайте, мои благодетели! – Мазепа обнимал и целовал каждого и плакал. – Теперь венгерского, запьем наше товарищество и щиру дружбу! – Мазепа налил чарку и, подняв ее вверх, сказал восторженно: – Паны мои полковники, будьте по век ваш счастливы и благополучны!

– Мы все тебя любим, пане есаул, все любим щиро, – сказал Солонина, и все вместе осушили чарки.

– Все любим! – подтвердил Лизогуб.

– И поважаем! – прибавил Раич.

– Спасибо, паны полковники, спасибо! Ну, теперь и в свои шатры пора, ляжем отдохнем немного, а там зайдет солнце, загорятся зирочки, вот мы, смотря на них, пойдем дальше; а теперь пора, ляжем, пане куме, и у тебя и у меня крепко шумит в голове, пойдем.

– Пора, пора, пойдем, пане есаул!

Мазепа и Кочубей поклонились гостям и, шатаясь, ушли.

– Ну, пане Раич, я, как ты хочешь себе, а окутаюсь твоею

шубою, да здесь и засну, до шатра моего далеко, не дойду.

– Добре сделаешь, пане полковник Лизогуб, и вы, паны, ложитесь: у меня всем вам и шуб и всего достанет.

– Так-и-так, а ну, паны, до гурту! Да и заснем; знаете пословицу: в гурти и каша ется, – сказал Забела и лег, окутавшись собольею шубою, покрытою алым бархатом; примеру его последовали все полковники, и сам пан Раич лег вместе с ними и уснул.

III

В полдень погода переменилась: солнце сделалось так красно, как будто бы кровью налилось, голубой безоблачный свод неба покрылся серым туманом, повеял ветерок и разнес в воздухе удушливый запах дыма.

– Не быть добру, – сказал Кочубей Самуйловичу, стоя за ним, облокотясь на высокую спинку стула, на котором, повязав белым платком глаза, сидел гетман, у входа в персидский шатер, подаренный ему султаном.

Выслушав слова Кочубея, Самуйлович долго молчал, потом покачал головою и сказал:

– Горе мне, великое горе на старости лет моих, при остальных днях жизни моей! Кому знать лучше, как не тебе, Василий Леонтиевич, сердце и душу мою; знаешь, что против царей наших никогда я не помышлял неправедно, рано и вечер молился за них Богу милосердному, просил Господа,

чтоб наша отчизна была достойна милостей царских! А теперь сердце мне говорит: не ждать веселия и добра; есть люди, я знаю, они идут против меня, хотят моего несчастия, желают смерти моей, я все знаю, но молчу и горюю! Воеводы и боярин видят, как я живу, да что ж, когда, может быть, им нужно другого гетмана! Болею, очи мои помрачились, а я пошел с верными казаками в степь; и что теперь ожидает нас? Впереди и позади огонь и смерть, верная смерть!.. Татары запалили степь; за нами пепелище – зола да земля, нигде ни травки, ни былинки – горе, тяжкое горе! А назад пойти – меня же обвинят… Рассуди сам, Василий Леонтиевич, виною ли я в том! Не боюсь, когда скажут, что я всему злу причиною, пусть говорят, что хотят, совесть у меня чистая, в сердце не было и нет грешных помыслов – не боюсь! Есть у меня надежда, крепкая и верная надежда – сам Бог заступится за меня, Василий Леонтиевич, сам Господь сохранит и помилует! Воля вольная врагам моим, что хотят, то пусть и делают!

Самуйлович склонил голову на грудь.

– Ясновельможный гетмане, проклятый тот человек, который посягнет на твою жизнь! Ты у нас родной отец всякому; кто тебя не любит, скажи сам, и кто посягнет на жизнь твою? Нет, гетман, того аспида на куски разорвали бы мы!.. Кому ты не делал добра – всякому казаку! А зло – никому, и кто ж тот, который задумал тебя обижать?!

– Так, пане Кочубей, все так, а есть и у меня враги, да еще

и немало их; они когда-то были моими приятелями, и я их любил, но теперь совсем не то.

– Проклятые те люди, гетман!

– Не проклинай их, пане писарь, Господь с ними, не проклинай; ты сам человек письменный, ты знаешь и сам, и в церкви не раз слышал Евангелие, что Господь Бог простил распинавшим его, Иисус Христос молился за них, так и нам указал поступать.

– Бог сам проклянет таких людей, проклянет и детей их!

– Василий Леонтиевич, на все воля Божия, сам Он, милосердный, все посылает: и смерть и живот – и надо мною свершится Его воля святая… Я старец дряхлый, пень трухлявый, насилу хожу, почти ничего не вижу, пора мне в могилу, там покойно! Одно только мучит, крепко мучит меня, не дает мне ни днем, ни ночью покоя: мне бы хотелось, чтоб вы, старшины, полковники, казаки и все, выбрали еще до смерти моей себе другого гетмана, чтоб видел я, будете ли вы счастливы. Когда будете, покойно сердце и душа моя будут – тогда хоть и в домовину…

Кочубей молчал, гетман читал про себя молитву и время от времени тяжело вздыхал.

В это время небосклон покрылся множеством летевших птиц; многие из них от зноя и смрада, наполнявшего воздух, падали на землю бездыханные; по степи бежали зайцы, волки, дикие кабаны, лисицы, дикие лошади и другие звери; все они были так утомлены, что допускали ловить себя и бес-

препятственно отдавались в руки казаков, но, по казачеству поверью, грешно было ловить бежавших зверей и брать падавших птиц.

– Звери бегут стаями, а небо покрыто птицами, – сказал Кочубей гетману и тяжко вздохнул.

– Близко пожар! Пошли казаков вперед верст за пять, не добудут ли языка, не разведают ли, как далеко от нас горит степь и в какой стороне.

Кочубей ушел исполнить приказание гетмана, а между тем два сердюка подняли ослабевшего старца, взявши под руки, и ввели его в шатер.

Через час войско начало собираться в поход, вмиг сняли шатры, убрали все в обоз, казаки оседлали лошадей, громко заиграли в трубы, ударили в литавры и бубны, стройные рати полков в минуту построились и двинулись вперед к переправе через речку Московку.

Багровое солнце скатилось на запад, с утра голубое небо, покрывшееся в полдень серым туманом, теперь час от часу покрывалось заревом, краснело, краснело и вечером превратилось в пламенное море, по которому густые огненные клубы черного дыма катились, как разъяренные морские волны, кругом во все стороны; где прежде, казалось, золотая степь сходилась с сапфирным небом, разлился страшный адский огонь; в воздухе шумел порывистый ветер.

Казаки шли на отдаленный еще огонь и дым; само войско приняло огненный вид. Гарь и удушливый дым становились

чувствительны, а полки все двигались вперед.

От добытых языков татарских узнали, что степь горит на пространстве двухсот верст. Гетман не верил пленным и не хотел согласиться с мнением полковников, желавших не идти далее и отступить назад.

Самуйлович полагал, что войско успеет приблизиться к реке и будет вне всякой опасности, тем более что в стороне за Московкою в шести верстах горела степь.

За полночь передовые полки увидели по той стороне реки необозримые волны огня, перевивавшиеся беспрестанно с густыми черными клубами дыма; это видели они уже не зарево, но самый пожар. По степи лежали там и сям рассеянные табуны диких лошадей, вепри, волки и другие звери, нередко преграждавшие путь казакам; звери были мертвы или при последнем издыхании.

С каждой минутой, с каждым шагом казаков вперед жар усиливался, изнеможденные воины, удушаемые дымом, падали на землю десятками, – каждый думал лишь о себе, – и падшим не подавали помощи, оставляя их на произвол судьбы, сами спешили все ближе и ближе к пламенному морю, желая приблизиться к реке.

Огненные полосы лилися вслед одна за другою, или перегоняли одна другую, или сливались вместе, увеличивались, как морские валы, и потом, достигнув огромной скирды сена, приготовленного за несколько дней для полков, вмиг, как тайфун на море, подымались к небу огненным винтом и гро-

зили, казалось, погибелью целому свету. Раскаленные брызги горевшего сена, разметываемого во все стороны порывами ветра, летали по огненному воздуху и, падая на черную, обгорелую землю, долго еще дымились.

Несколько раз казаки, возмущаемые недовольными на гетмана, готовились воротиться назад; даже иные полковники оставили полки свои и ехали сзади. Гетман заметил это и, забыв дряхлость, старость и болезнь, с повязанною головою, сел на коня и, поддерживаемый казаками, поехал впереди всего войска. Ободренные казаки забыли отчаяние и спешили за Самуйловичем.

Казалось, самая стихия, увидев пред собою старца гетмана, не желая противостоять ему, начала утихать; волны огня уменьшались, дым разлился поверх огненных потоков и на несколько мгновений скрыл небо и землю непроницаемым мраком; войско остановилось среди тьмы, дожидаясь проблеска огня. Вдруг забушевал порывистый вихрь, раздался страшный треск, и с новою силою, с новою неизобразимой яростью со всех сторон покатились огненные валы и устремились прямо на казаков.

– Мы погибли! – сказал Мазепа, окутанный с ног до головы в белый плащ, гетману, ехавшему по правую его сторону.

– Молись, не погибнем! – с христианской твердостью отвечал гетман.

– Пропали мы, пропали, гетман! Через тебя пропали! – закричал не своим голосом Кочубей, ехавший рука об руку с

Мазепою, и сколько доставало силы у коня его, поскакал назад; примеру Кочубея последовали некоторые из полковников и других чинов, увлекшихся или трусостью, или неправедною местью против гетмана.

– С коней! – закричал гетман и первый бодро соскочил с коня. – Молитесь, казаки, Богу милосердному! Да спасет и помилует, молитесь! – с воодушевлением и верою воскликнул Самуйлович, повергся на колени и громко начал читать молитву.

Вслед за гетманом все войско в благоговении молилось.

Ветер призатих, сердца молившихся оживали надеждою… Но вот, с новою яростью загудело, зашумело: страшные порывы взметали столбы огней, ломали, сокрушали их, бушевали новыми волнами; всем уже казалось, что вот-вот эти волны подкатятся под ноги казачьих коней и через мгновение необозримые ряды воинов потопятся непреодолимым стремлением пылающего моря.

– Светопреставление!.. Мы пропали! – ревели отчаянные вопли по рядам.

– Господи, помилуй! – громогласно и умиленно воскликнул гетман.

– Господи, помилуй! – единодушно повторило за ним все войско.

Вдруг все затихло… изумленные озирались – и не верили глазам своим.

– Владычице!.. Милосердная Заступница!.. Господи, сла-

ва Тебе!.. – слышались повсюду радостные восклицания. Последний страх был напрасен: то было гудение и свист ветра, внезапно переменившего направление. Пламя и дым быстро повернули в степь; от силы нового жестокого ветра огненные волны с яростью, одна за другою, отхлынули назад и помчались по направлению бури.

Воздух освежился, изнеможденные казаки, с каждым мгновением ожидавшие гибельной смерти, радостно вздохнули, увидев, что опасность миновала.

Не вставая с колен, восторженный старец поднял дряхлеющие руки вверх и, возведя глаза, исполненные радостных слез, громогласно произносил отрывистые речи благодарственного псалма: *«Благослови душе моя Господа!.. и вся внутренняя моя Имя Святое Его…»* Войско последовало его примеру. Голос старца мало-помалу ослабевал. Изможденный гетман наконец сел на траву, но лицо его сияло величием праведника. Он повел глазами кругом себя; все столпились к нему, многие бросились к ногам его, приносили повинную, клялись в своем ропоте и малодушии, ублажали его веру и упование.

– Близь, Господь, сокрушенных сердцем и смиренных духом спасет! – величественно проговорил гетман, придавая вес каждому слову, когда восторг окружавших позатих. – Вы испугались смерти! А разве, идя на войну, мы не на смерть идем!.. Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. За нашу гордость, неповиновение и крамолы Господь

страхом смерти обличил наш грех и покарал малодушием. За наше смирение и покаяние помиловал нас. Вразумитесь этим случаем, дети, не гетмана бойтесь, а Бога! Не творите козней и крамол против власти праведной и законной, не ходите на совет нечестивых, на пути крамольников не стойте – и Господь вас сохранит и помилует.

Все слушали, поникнув взорами.

– На коней… и назад! – скомандовал гетман, когда по его приказанию его подняли, и он осмотрел еще пылавшую вдали окрестность. Раскаленная земля невдалеке от войска пылала еще в разных местах, и поэтому гетман решил, отступив назад, дать отдых казакам.

Противники гетмана торжествовали, они уже забыли недавний урок Божий. Дух крамолы отогнал от них Духа Божия, святые укоры гетмана острием вонзились в зачерствелые сердца их и озлобляли на новые крамолы.

Два дня после этого шли казаки назад; и кроме серого неба, покрытого дымом, да пепла, развеваемого ветром, да трупов погибших людей и зверей ничего не встречали более.

Между тем продолжительный поход в степи истощил все запасы, взятые казаками в дорогу, и недостаток в пище начал быть ощутимым.

Но вот пришли полки к речке Анчакрак, переправились через нее и, соединясь с московскими полками, остановились.

Собрался военный совет из боярина, воевод московских,

гетмана, старшин и полковников казачьих войск; долго рассуждали о том: идти ли вперед или воротиться назад? – мнения были несогласны. Гетман, а за ним и воеводы говорили, что пожара другого не может быть, травы нет на степи, которая могла бы гореть, а пойдет дождь, подрастет молодая, тогда для лошадей будет корм, и они благополучно дойдут. Старшины и полковники гетманские противоречили этому и требовали непременно воротиться назад. Боярин согласился с мнением есаула Мазепы, который первый подал мысль воротиться, – и решили отступить войскам до реки Коломана.

В тот же день московское войско пошло в обратный путь, а казаки пока что отдыхали на месте.

Вечером, когда кровавое солнце заходило за кровавый же запад, у изломанного пушечного станка столпились паны полковники.

Григорий Дмитриевич кричал, что он докажет, будто бы сам гетман посоветовал крымскому хану зажечь степь.

– Твоя правда, пане полковник, – сказал Кочубей, – все он один делает, никого к совету не призывает!

– А Генеральной старшине какая от него честь! Больше от гнева и непохвальных его слов мучатся, нежели покойно живут, – сказал Мазепа и, заложив руки за спину, начал ходить перед полковниками то в одну, то в другую сторону.

– Паны полковники, донос писать, так и писать, – сказал Кочубей.

– Жалко старика, доживал бы он своего веку, да и толь-

ко! – сказал Лизогуб.

– Пане Лизогуб, когда дела не знаешь, так сидел бы молча, а не пустое городил… а может быть, гетман насыпал тебе десять шапок червонцев, что ты так ласков до него! – сказал Кочубей.

– Да нет, то я так сказал!

– Ну, когда так, то лучше слушай нас, так, паны?

– Так, так!

– Справедлива речь!

– Так-таки, так!

– Ну, писать или как, говорите, паны полковники?

– Да хоть и писать!

– Ну, писать, так и писать!

– Что ж писать будем? Говорите, со мною есть папира и каламарь; все есть, я человек с запасом. Садитесь, паны, подле меня, в кружок – да без всякого стыда говорите, что писать! – сказал Кочубей, разворотил лист бумаги, вынул из кармана чернильницу, перо и приготовился писать.

– Ну, говорите!

– Пиши, пане писарь, что Самуйлович – зичливый приятель татарам, а враг смертный полякам! – сказал Мазепа.

– Добре, напишу! – Кочубей записал.

– Пиши, пане, что гетман говорил: Москва за свои гроши купила себе лихо! – сказал Забела.

– От-се пиши, пане, се крепко добре! – сказал Дмитрий Григорьевич.

– Пиши, пане писарь, да не оглядайся! – сказал Лизогуб.

– Говорил: Брюховецкий добре сделал, что изменил, – и он то же сделает.

– И се добре, пане Забело!

– Григорий, сын гетмана, дядьки, братья, племянники, да… и все родичи при гетмане часто говорили дерзкие речи о царях; а Самуйлович не только свою родню не удерживал от того, да и сам частенько им потакал, – сказал Мазепа и потом, обратясь к полковникам, прибавил: – Старый поп Иван, приятель гетманский, на все штуки молодец, и даром что на голове десять волосин осталось, а враг его не проведет, – гетман его одного слушает.

– Да есть у гетмана и не один поп Иван – приятель.

– Да поп лучший из всех, пане Лизогуб, – сказал Мазепа.

– Так, пане есаул, так!

– Еще что, думайте, а что не вздумает, после сам я все добавлю, перепишу на другую папиру, да все и подпишемся!

– Не любит московских бояр и воевод; и дочку свою хотел выдать за поляка князя Четвертинского, а не за русского воеводу, известно вам, паны полковники?

– Известно, пане есаул! – сказал Солонина.

– Всему свету известно, не только одним нам, – сказал Раич.

– Знаем! – отвечал Забела.

– Все знаем! – подтвердил Лизогуб.

– Будет, довольно с него; сам после допишешь, что вспом-

нишь, да принесешь до нас, мы и подпишем и потолкуем, когда и как подать папиру.

– Когда и как, пане Лизогуб! Известно уже кому и когда; да не хлопочи, это не наше дело, есть у нас на это есаул, так, пане есаул? Тебе следует челобитную нашу отдать боярину и просить от всех нас, чтобы отослал в Москву до царей.

– Да хоть и так, немного хлопот, боярин сам давно хотел, чтоб другой был у нас гетман, а теперь и рад будет, есть повинная голова, которая спалила степь, так напишет и в Москву.

– Ну и добре!

– Да как добре!

– Пойдем же теперь до меня да запьем беду нашу венгерским, все будет повеселее, когда зашумит в голове. Пойдем, пане куме, – сказал Мазепа, обратился к полковникам, взял под руку Раича и Кочубея и пошел вперед.

– Что за ласковый пан, наш есаул, ей-ей, и в свете не найти добрейшего!

– А ты, пане Лизогуб, только сегодня и разгадал нашего пана! – сказал Солонина. – Ere… re… ну так! А сколько десятков лет живешь вместе?

– Да ну тебя, пане Солонино!..

– Добрая душа! Грех сказать, по-моему, так я б и булаву ему отдал, – говорил Лизогуб.

– Да таки-так!..

Полковники, Мазепа и Кочубей вошли в шатер.

С этого дня в полках появились явные возмутители. Они разглашали, что гетман тайно посылал приятелей своих, казаков, жечь степь; говорили, что он давно готовился изменить царям и побрататься с турецким султаном, и если бы удалось, так и теперь предал бы всех казаков проклятой татарве. Ропот, как прилив морской, разлился по всему табору; днем и ночью густые толпы казаков стояли у палатки князя Голицына, кричали и требовали, чтобы старый гетман был закован в кандалы и отправлен в Москву или чтобы немедленно казнили его в таборе. Лизогуб, Раич, Забела и Кочубей уговаривали казаков на площадях, превозносили гетмана похвалами, говорили, что он дряхл, стар и хоть для одного этого оставить его в спокойствии, и в то же время собирали зачинщиков у своих шатров, поили их водкой, медом и пивом и научали их, чтобы они неотступно требовали перемены гетмана.

Но большая часть достойных богобоязненных казаков, беспредельно любивших своего «старого батьку», слышать не хотели о наветах, которые на его счет разносились по войску; не имея средств опровергнуть клеветы дельными уликами, они напоминали другим все дела и поступки прошлой, праведной жизни гетмана, его ласку, любовь и правосудие ко всем.

– Да что и говорить, – прибавляли они восторженно, – грешного человека не послушает Господь! А кто богочтец, того послушает!.. Испеклись бы позавчера наши грешные

души в пекле, а грешные тела – в степи, когда б не его вера да молитва святая!.. Не так еще покарает Бог Иуду-предателя, Даоана и Авирона, крамольников и наветников… Итак, уже старому немного жить… взмилуйтеся, братики, над своими душами… не побивайте своего родного батька…

Такие увещания образумливали даже самых буйных, но только на время. Явятся поджигатели, и снова забеснуются, и проклинают гетмана, и требуют нового.

Мазепа с утра до вечера сидел в палатке князя Голицына и утешал его в скуке, уговаривал, чтобы боярин не беспокоился неудачею похода, что вся вина падет на Самуйловича. Боярин любил Мазепу и был внимателен к его увещаниям.

Последние два дня Мазепа, сказавшись больным, не является уже к гетману, хотя Самуйлович неоднократно посылал за ним. В свою очередь, Кочубей всевозможными средствами старался угождать гетману; он еще надеялся, что Мазепа будет отозван в Москву и булава достанется ему. Вместе с этим Генеральный писарь ласкался к Самуйловичу и жаловался ему на казаков, которые, как он говорил, от радости, что возвращаются в Гетманщину, покупают в ближних корчмах водку и, напившись допьяна, никого не слушают, бунтуют и требуют смерти гетмана, старшин и полковников, и дружески советовал Самуйловичу перейти поближе к московскому войску для большой безопасности.

– Господь просвещение мое и Спаситель мой, – кого убоюся! – твердым голосом проговорил старец, перекрестился и,

молитвенно поникнув головою, замолчал. Кочубей вышел: грозны для него были твердость Самуйловича и слова чтений Евангелия; душно ему было в этом воздухе, проникнутом, казалось, невинностью и благовонием.

Гетман сидел безвыходно в своем шатре, день и ночь слушал Евангелие, которое читал или любимый его духовник, священник Иоанн, или, иногда, сын гетмана Яков. Перед постелью на небольшом столике лежал перламутровый крест с частицами святых мощей – дар гетману одного иеромонаха, бывшего на поклонении у гроба Господня, и небольшая, в золотом окладе икона Почаевской Божией Матери. С этими святынями гетман всегда выступал в поход.

В ту минуту, когда Кочубей вошел в шатер, гетман лежал в постели и внимательно слушал тихое чтение отца Иоанна; небольшая лампадка стояла на столике перед книгою и разливала тусклый свет…

Кочубей доложил, что никакие меры не действуют для удержания казаков от бунта, и спросил, что делать прикажет гетман.

Самуйлович перекрестился и сказал:

– Господи, да мимо меня идет сия чаша! – И, обратясь к Кочубею, сказал: – Проси тех, которые возмутили, чтоб они успокоили их, попросили бы и от меня, если помнят старого своего гетмана! Вижу, Василий Леонтиевич, что скоро меня не будет среди вас!..

– Гетман, живи для нашего счастия!

– Жить мне, когда уже продавщик получил золото от купившего мою жизнь!..

Кочубей смутился, услыша слова Самуйловича, и долго ничего не мог отвечать.

Отец Иоанн продолжал читать Евангелие. Гетман не глядел в лицо Кочубею.

– Кто же, Иуда, продал жизнь твою, гетман?

– Сам ты знаешь лучше, нежели я! Несть тайно, еже не будет яве, – скоро все откроется, скоро и Бог всех нас рассудит! А суд Божий не человеческий! О, страшен грешникам суд небесный! Он ждет многих, многих ждет. Тогда золото не поможет… не укроются пред Судьею небесным никакие грехи…

Кочубей не знал, что отвечать, и украдкою, стараясь, чтоб не заметил его гетман, вышел вон из шатра.

Донос на гетмана был уже подан Мазепою Голицыну, а от него с гонцом отправлен в Москву вместе с собственным его обвинением гетмана, на которого он слагал всю неудачу Крымского похода.

Войска двинулись к речке Орчику, потом перешли луга, приблизились к широкому, быстро текущему Коломаку и остановились табором на одну версту от полкового города Полтавы.

Гетман, страшась, чтобы казаки не причинили ему какого-либо вреда, остановился по левую сторону Коломака, а табор казачий устроил на правом берегу.

Самуйлович никого уже не принимал к себе под предлогом тяжкой болезни.

Рано утром 21 июля 1687 года больной гетман, как будто бы предчувствуя, что скоро должен идти на страдание, сказал:

– Отче Иван, слушай меня последний раз: прежде всего прошу тебя, помолись Господу Богу, чтоб Он удостоил меня приобщиться Святых Своих Тайн; почему знать, может, враги мои и скоро уже начнут тащить сети, которые они расставили мне… и… после этого прошу тебя, немедленно поезжай в святой Киев или куда сам заблагорассудишь! Не примешь совета моего – погибнешь: первого тебя возьмут и будут пытать, скажут, ты все должен знать, что делал гетман, и, не зная, что отвечать, ты погибнешь. Поезжай в Киев, в Святую Лавру, и исполни давнишний обет твой надеть черную ризу и молись, молись, отец Иван, за грешную душу мою, молись рано и вечер, да спасусь… Что же, отец Иван, скажи мне, утешь меня, согласен ли ехать в Киев?..

– Прийму благодетельный совет твой, гетман, и поеду.

– Сегодня же, сегодня я прощусь с тобою! Душа моя радуется, что послушал меня… и теперь я спокойно умру: есть кому молиться за меня Господу милосердному!.. Ну, иди же в церковь, и я за тобою прийду.

В этот день гетман исповедовался и приобщился Святых Таин, потом, пообедав с отцом Иоанном, побеседовал с ним о суете мира сего, о жизни вечной и, обняв его со слезами,

простился на вечную разлуку.

В тот же день к вечеру чрез селение Коломак отец Иоанн выехал в Киев. Вскоре после выезда его боярин Василий Васильевич получил царский указ на посланный донос от старшин и полковников; никто не знал, что содержал в себе этот указ!

Мазепа, по обыкновению, с утра до вечера был неразлучен с князем Голицыным, но и от него никто и ничего не мог узнать.

Между тем Кочубей боролся сам с собою, и хотя он еще надеялся быть гетманом, полагаясь на слова Мазепы, уверившего его, что он будет отозван в Москву, со всем тем тревожная совесть часто преследовала его неотразимою мыслию: «Ох, тяжко! Ну, да если я задаром сгубил невинного старца, а булава достанется другому!» – Кочубей вздрагивал, вскакивал с места и старался успокоить совесть и надеждою, что Любонька его будет утешена, возбудить свое мужество; и поэтому распространял между полковниками слух, будто бы в указе сказано, чтобы Голицын озаботился избранием в гетманы верного и достойного; и что таковым назван Кочубей и еще некоторые из полковников, а Самуйловича за измену казнить.

Полковники и казаки зашумели и требовали, чтобы новый гетман был избран вольными голосами, по вековечному праву, существовавшему в Гетманщине, и что они не жалуют ни Борковского, ни Кочубея; лучше изберут простого ка-

зака, какого сами захотят; говорили, что Кочубей сам возвел на гетмана никогда не бывалые преступления, первый подал голос написать донос и, написав, не прочитал ни полковнику Гамалее, ни Борковскому, а упросил их подписать.

– Не будет того, чтобы Кочубею отдали гетманскую булаву, хотя крепко-накрепко жена его, Любовь Федоровна, наказала ему быть гетманом, – не такая голова у Кочубея. Любовь Федоровна, другое дело, жена умная, любит пановать, да жалко, не растут у нее ни усы, ни борода, ни чуприна, а то, пожалуй, выбрали бы ее и в гетманы! – сказал, усмехаясь, Забела.

– Лучше пусть уши и нос Любовь Федоровна отгрызет своему Василию, нежели быть ему гетманом! – сказал Дмитрий Раич.

Кочубей не догадывался об этом и по-прежнему старался всеми мерами угождать Голицыну и Мазепе.

– Слушай, пане мой милый, слушай, Василий Леонтиевич, – сказал Мазепа, когда вошел Кочубей десятый раз на одном часу в палатку князя Голицына. – Сию минуту распорядись тайно поставить стражу вокруг гетманского шатра, пора посадить старую ворону в клетку, не запоет ли соловьем!

– Пора, давно пора, – с радостною улыбкою повторил Кочубей.

– Вокруг всего стана также поставить пикеты, чтобы кто из табора не дал знать сыну гетмана Григорию, что батько

его попался в расправу, да чтобы кто-нибудь из гетманских приятелей не ушел от нас, особенно прикажи смотреть за попом Иваном и за слугами гетмана.

– Так-так, вельможный есаул… все сделаю, пора, давно пора уже его на виселицу, тот проклятый поп всему виною, не раз он и на нас наговаривал гетману, – сам завяжу петлю на его шее, – сказал Кочубей и поспешно ушел.

IV

На дворе ночь, темно-голубое, безоблачное небо покрылось миллионами ярко горевших звезд, было тихо в таборе, казаки спали; в селении Коломак слышался лай собак, в поле громко кричал перепел.

В Коломаке в церкви Благовещения начался благовест к заутрени! Гетман услышал звон колокола, собрал последние силы и, поддерживаемый слугами, пошел в церковь.

В шатре оставался сын его Яков и продолжал читать Евангелие, страдания Спасителя, которое он читал вслух для отца. Было далеко за полночь, в шатер гетмана вошли солдаты Новгородского полка, предводимые Кочубеем.

– Где отец твой? – грозно закричал Кочубей.

– Нет его, а ты, Иуда, зачем? – спросил Яков Кочубея, выбежал из шатра и опрометью побежал к церкви, чтобы предостеречь отца.

– Ловите проклятое гетманское отродье, ловите!

Шагах в двадцати от шатра схватили Якова, посадили на лошадь и вместе с ним поехали в церковь.

Перед растворенными царскими вратами седой священник читал дрожащим голосом Евангелие от Матфея, беседу Иисуса Христа с учениками. Тускло теплилась лампада пред образом Тайной Вечери, висевшим над царскими вратами, да две свечи горели у местных образов.

У иконы Божией Матери, стоя на коленях и склонив повязанную белым платком голову на железную решетку, находившуюся подле алтаря, слушал гетман чтение, по его просьбе происходившее.

В то время, когда Кочубей и солдаты вошли в притвор церкви, священник произносил:

– *Имже бо судом судите, судят вам: и в ню же меру мерите, возмерится вам…*

Кочубей ясно слышал эти слова, и непонятное, невыразимо тяжкое чувство стеснило его сердце, он возвел глаза свои к иконе Тайной Вечери, но свет помрачился, туман разлился перед ним и все в глазах его исчезло, он даже ничего не слышал, хотел было молиться, но уста не растворились, хотел перекреститься – рука не подымалась.

Кончилось чтение, но поразившие его слова не умолкали для него. Ему слышалось, как их громко произносили во храме нечеловеческим слабым голосом. В таком состоянии находился Кочубей несколько мгновений; потом все предстало пред ним в прежнем виде, тоска отлегла от сердца, и

взор его обратился к гетману.

Между тем начинало светать; звезды одна за другою исчезали с небосклона; прохладный утренний ветерок пролетал в церковь сквозь растворенные окна. Кончилась заутреня. Казак-слуга подошел к гетману, подал ему серебряную булаву, на которую опирался старик, Самуйлович тихими шагами выходил из церкви; у входа Кочубей остановил его и сказал:

– Ясновельможный гетмане, боярин князь Василий Васильевич прислал просить тебя к себе!

– Это ты, Кочубей? – кротко сказал гетман.

– Я, Самуйлович!

– Дай же мне последний раз перекреститься в церкви.

Гетман стал на колени, сделал три земных поклона.

В сердце Кочубея опять громко послышались слова Евангелия, Кочубей смутился и не знал, что ему делать.

– Ну, вези меня куда нужно! – сказал гетман и вышел из церкви.

Его посадили в простую бричку, запряженную парою, управлял которой рыжий еврей.

Сын гетмана Яков ехал верхом по правую сторону отца и тяжело вздыхал.

– Не тоскуй, Яков! Богу угодно так, не тоскуй! – сказал гетман спокойным голосом. Яков молчал.

– Куда везут меня?

– К боярину! – отвечал один из солдат.

Во всю дорогу гетман более ничего не говорил.

Бричка, в которой сидел гетман, и провожавшие его приблизились к московскому лагерю и, проехав его, остановились, не доезжая белой с голубыми полосами княжеской палатки, вокруг которой толпилось несколько тысяч казаков и московских воинов; в шатре шумели и громко спорили старшины и полковники.

Казаки, издали увидевшие бричку, в которой везли гетмана, опрометью побежали к нему и с сожалением спрашивали: «За что батька нашего посадили в бричку, за что его хотят судить?» Были многие в числе этих казаков, которые подавали мысль силою освободить гетмана, но гетман строго запретил им, и никто не смел приступиться к исполнению этого намерения; были и такие, которые, напившись у полковничьих шатров водки и пива, кричали и требовали казни гетмана, не зная сами, за что и для чего.

Опираясь левою рукою на булаву, а правою на сына Якова, старик гетман с завязанными белым платком глазами вошел в палатку князя Голицына. Было еще довольно сумрачно, но все могли заметить бледное лицо страдальца, на котором, впрочем, ясно выражалось душевное спокойствие. Гетман поклонился и встал у стола напротив князя Голицына, сидевшего в охабене алого бархата, в высокой собольей шапке; на груди его блестела золотая гривна; перед ним лежали бумаги, и самая верхняя – с огромною красною печатью. По обеим сторонам боярина сидели старшины, полковники, во-

еводы и знатные казаки; у входа в палатку стояли стражи.

В палатке как по мановению волшебного жезла вмиг воцарилось молчание.

– Гетман, сын его Яков и шесть человек слуг взяты под стражу, а поп Иван и некоторые из слуг неизвестно где скрылись! – сказал Кочубей.

– Попа и слуг поймать, особенно попа, он сам изменник! – сказал Мазепа.

Голицын и все прочие молчали.

– Иван Самуйлович! Ты обвинен в измене московским царям! – сказал Голицын.

– Кто меня обвинил в измене царям? – спокойно спросил гетман и старался приподнять повязки на глазах.

– Старшины, полковники и казаки.

– Вот-то, боярин, самые честные люди!

– Ты изменник – всем известно, и еще притворяешься! – сказал Кочубей.

– Кочубей, это ты говоришь? А давно ли уверял, что ты мой приятель и слуга? Так и вместе со мною изменник! Как же это будет?..

– Изменник, что говоришь! Не ты ли приказал палить степь? Не по твоим ли хитростям мы не дошли до Перекопа? Думал, что хитростей твоих никто не разгадает? Полагал, что беда падет на боярина и на нас, а ты себе спокойно будешь гетманствовать да дружбу вести с проклятыми татарами и турками? Злополучная голова твоя, не так Бог дал;

теперь отвечай, а мы послушаем тебя! – сказал Кочубей.

– Ты правду сказал, что Бог не так дал. Он один видит, один и знает, кто из людей, по Его благодати, праведен, и кто, по ослеплению своего сердца грешный.

– О, ты праведник! – закричал Раич и ударил концом сабли своей несколько раз об ножку стола.

Гетман молчал.

Голицын встал с кресла, снял обеими руками шапку, положил ее перед собою, взял со стола царский указ, приосанился и прочел его вслух.

– Боярин, старшина и полковники! – начал Самуйлович. – Вам нужна моя седая голова? Вот она, – он наклонил голову, – я перед вами, делайте, что задумали, исполняйте свое желание; говорить же мне, что я не изменял московским царям, что степь запалили татары, что я верою и правдою служил Богу милосердному и царям, все равно, этого вам не нужно. Прошу одного – ради верной службы моей казачеству, ради любви моей к вам, паны полковники, – вы знали меня и сами любили меня, – одного прошу, паны мои добродии, пощадите жену и детей моих; о своей пощаде не прошу, сего не можно переменить, да и лучше погибну один я – а не все вы; теперь останется одна семья сиротами, и тогда осталось бы двадцать, больше нечего мне говорить вам; десяток лет, другой пройдет, и все мы, которые теперь в шатре, будем на том свете; и всех нас рассудит праведный Судия; а пока то будет, простите меня, когда обидел кого, и Бог простит вас!..

Теперь, что положили, что порешили – делайте, больше ни слова не скажу.

Полковники начали кричать и поносить Самуйловича. Кочубей возводил на него небывалые преступления, Мазепа молчал и время от времени только наклонялся к Голицыну и что-то тихо говорил ему на ухо.

Гетман безмолвно стоял.

– И ты, проклятое создание, – закричал Раич, обратясь к Якову Самуйловичу, – и ты заодно с своим батьком, и тебе, и твоему другому брату одна будет честь!..

– Добре, пане!

– Еще и добре! Эге, щенок! – И, обнажив саблю, Раич замахнулся, намереваясь ударить по голове гетмана, но Голицын мановением руки остановил вышедшего из границ полковника Раича.

– Казнить! Четвертовать!

– Казнить!

– Гетмана казнить!.. Казнить! – повторяли прочие полковники.

Казаки, стоявшие у палатки, одни кричали и требовали казни гетмана, а тысячи молчали и с горестию ожидали конца участи любимого гетмана.

– Подай мне булаву твою, Самуйлович, – сказал Голицын.

– Вот она, боярин, отдай же ее тому, у кого совесть перед смертию будет так же покойна, как теперь у меня, и Гетманщина будет счастлива, и казаки будут благословлять тебя, и

верою и правдою будут служить царям московским… а выберешь из предателей своего гетмана – предадут и тебя, и казачину, и Москву. Таков праведный суд Божий. Простите меня, боярин, и вы, старшина, полковники и честное казачество, бойтесь Бога и любите друг друга. Вот вам предсмертная заповедь вашего батьки и гетмана. – Самуйлович прослезился, перекрестил предстоявших. – Господь Бог да благословит всех вас…

Голос Самуйловича прервался; он возвел глаза к небу и, поцеловав крест, вырезанный на булаве, почтительно подал ее Голицыну.

Голицын принял булаву и, взяв Самуйловича под руку, вывел его из палатки. Казаки, преданные гетману, порывались приблизиться к руке его, но стража не допустила к нему многочисленную толпу.

Гетман и сын его сели в приготовленную телегу, с ними поместился русский есаул, и их окружил конвой.

Когда все уже было готово, Самуйлович привстал с своего места, оборотился к казакам и почти сквозь слезы сказал:

– Дети мои, дети, прощайте! Не поминайте лихом! Ни вы меня, ни я вас не увижу более в этом свете.

Он снял шапку, три раза перекрестился – и телега покатилась по Московской дороге.

V

Это деялось, вечной памяти, в 1687 году, 25 июля.

Среди обширной равнины, пролегавшей по берегу реки Коломака, в то время широкой и быстрой, а ныне почти иссякшей, с раннего утра начали стекаться казаки и народ, съехавшийся нарочно к этому дню, для избрания нового гетмана. Среди казаков, в красных, голубых, светло-зеленых куртках, среди обшитых мехом бархатных и суконных, высоких и низких шапок, среди длинных черных и седых усов виднелись бритые головы лицарей из-за Порогов, с длинными оселедцами, закрученными за ухо; виднелись и черные очи Марусь, Ганн, Ульян, с лентами и цветами на головах, в байковых и шелковых кофточках, в червонных и мережаных запасках и плахтах; виднелись и бледные старухи с длинными и широкими белыми на головах намитками, в червонных чеботах на высоких каблуках; кой-где слышались тоненькие голоски девчат, которые, опустив черные очи в землю, улыбаясь, отвечали на остроты запорожца, стоявшего перед ними, опершись одной рукой на саблю, а другою взявшись под бок; слышались жалобы стариков, разговаривавших между собою про старые годы, они хвалили прошедшее и порицали настоящее; были здесь и евреи в черных кафтанах, с рыжими пейсами, спускавшимися из-под черных бархатных ермолок; сгорбившись, они бегали между народом, стараясь попасть

в средину; были и поляки в своих кунтушах и, взявшись за руки, постукивая саблями, да крутя усы, важно прохаживались по площади. За толпами народа сидели в разных местах старухи и перед ними были навалены горы арбузов и дынь; в решетах и кадках краснели вишни, сливы, яблоки, раки, лежала вареная рыба, маковники, вокруг летали роями мухи, а у ног торговок, под тенью, лежали свернувшись собаки, лакомясь запахом рыбы и вареного мяса; и здесь было много занимательных сцен: толпились казаки и казачки, сидели слепые бандуристы, прославляли казачьи победы и просили милостыни; сидели и лежали с опаленными руками и ногами некогда храбрые гайдамаки, попавшиеся в руки поляков, которые умели платить степным лицарям за их наезды…

Когда солнце взошло высоко, пришли стрельцы и выборное войско московских полков и заняли место, назначенное для избрания, обступив его со всех четырех сторон, среди площади, которую окружило войско, и вмиг раскинули пеструю, с золотыми цветами, дорогую палатку, внесли в нее образа и все, что следовало, из походной казачьей церкви. Саженях в пяти против входа в походную церковь поставили небольшой стол и покрыли его дорогим персидским ковром; вокруг стола разместили длинные скамьи, а для боярина и знатных чинов принесли походные кресла, обшитые золотою парчою.

Священники, находившиеся при войске и из ближних мест, и монахи Кресто-Воздвиженского полтавского мона-

стыря собрались в походную церковь и облачились. В это время раздался пушечный выстрел, и через несколько минут к церкви подошло 800 казаков, 1200 пеших воинов и обступили вокруг церковь и стол.

Раздался второй выстрел, и священники с иконами, крестами, хоругвями вышли из церкви и приблизились к той стороне, откуда должны были ехать боярин и все чины.

Раздался третий выстрел – народ засуетился, с нетерпением ожидая начала избрания. И вот, заиграли в трубы, ударили в барабаны, расписанные золотом и красками, били в позолоченные литавры и звонкие бубны, и вдали увидели едущих московских воевод. Среди них на белом арабском жеребце ехал боярин Василий Васильевич Голицын, он держал в левой руке гетманскую булаву; рядом с ним ехали воеводы Новгородского полка, по правую руку на вороном коне Алексей Семенович Шеин, он осенял боярина знаменем Большого полка с изображением Нерукотворного Образа. Знамя это было в Казанском походе с царем Иоанном Васильевичем. По левую – ехал князь Данило Семенович Борятинский, он осенял Голицына пурпурным Новгородского полка знаменем; впереди боярина воеводы везли знамена тех полков, к которым они принадлежали.

В свите боярина ехал князь Константин Осипович Щербатов, Аггей Шепелев, Емельян Украинцов, Венедикт Змиев, князь Владимир Дмитриевич Долгорукий, Петр Сидоров, Леонтий Неплюев, Борис Петрович Шереметев, знатные ли-

ца полков Низовых, Белгородских, Рязанских, Новгородских и Большого полка.

За боярином в отдалении ехали малороссийские чины, по сторонам – полковники, в средине – Генеральная старшина. Полковники держали в руках свои перначи, Генеральный есаул вез большой золотой бунчук, а судья и писарь меньшие бунчуки.

Ветер развевал пурпурные и золотые знамена, и лучи солнца горели на золотой булаве и бунчуках.

Тихо приблизился боярин к площади, все окружавшие его и сам он сошли с коней и, подойдя ко кресту, пошли за духовенством в церковь.

Отошла Литургия и начался молебен; когда возгласили многолетие царям, на площади казаки стреляли из ружей. По окончании молебствия Голицын вышел на площадь, поклонился на все стороны народу, подошел к столу, положил гетманские клейноды и сел на приготовленное для него кресло; по правую и левую стороны уселись московские воеводы, старшины, за ними полковники и потом прочие знатные чины.

Шум и говор среди народа прекратился; воцарилось безмолвие. Голицын встал с кресла, важно снял шапку, поднял вверх гетманскую булаву, так что всякий из стоявших легко мог ее видеть, и громко сказал:

– Великие цари-государи повелели мне объявить вам, верные и храбрые казаки, чтобы вы избрали среди себя нового

гетмана; Самуйловича же за измену и всякие неправды отставить! Кому вы желаете вручить сию булаву?..

Шум разлился в народе, но ни один голос не произносил имени избираемого.

Голицын выше поднял булаву и громче спросил:

– Кому желаете вручить булаву?

– Борковскому! – раздался голос с левой стороны и повторился двумя или тремя с правой. – Борковского! Борковского!

Налево закричали вдруг десятка два голосов:

– Григорию Самуйловичу, Григорию!

Вокруг столика, среди полковников, послышалось довольно громко:

– Тс-с-с-с, тс-с-с-с!

– Ивану Степановичу! – сказал кто-то, почти у самого столика.

– Ивану Степановичу? – спросил Голицын.

– Ивану Степановичу!

– Да! Мазепе!

– Нет, Борковскому!

– Григорию Самуйловичу!

– Мазепе!

– Борковскому!.. Борковскому!.. – кричали в разных углах.

– Кочубею! – произнес кто-то пискливым голоском.

Полковники захохотали, а за ними и близ стоявшие каза-

ки.

– Борковскому! Борковскому!

– Мазепу! – тихо произнес один из полковников.

– Ну, Мазепу так и – Мазепу! – сказал Голицын.

– Борковского! Борковского! Борковского!..

– Ивана Степановича? Так, паны полковники, Мазепу?

– Да хоть и так!

– Да, таки-так!

Мазепа стоял у стола, беспрестанно кланялся в пояс Голицыну, старшинам и народу.

Голицын подозвал Мазепу и, подавая булаву, сказал:

– Генеральные старшины, полковники и верные казаки единодушно желают, чтобы ты был у них гетманом!

По существовавшему обычаю Мазепа начал отказываться и благодарил за честь, но Голицын вручил ему булаву и прибавил:

– Служи, гетман, верою и правдою Богу, царю и храброму казачеству!

В народе поднялся страшный шум и крик – смельчаки поминутно произносили имя Борковского, а некоторые Гамалея; войско, окружавшее площадь, искоса посматривало на шумевших, ожидая, не потешатся ли их сабли на казачьих головах. Голицын, будто ничего не видя и не слыша, занимался Мазепой.

Мазепа принял булаву и поклонился на все четыре стороны.

Тотчас же новый гетман присягнул в верности царям, а за ним присягнули в верности ему старшины, полковники и прочие чины.

Народ долго еще шумел, волновался, многие были недовольны избранием Мазепы.

С площади все чины поехали к Голицыну и окончили у него этот день банкетом.

Полковник Солонина и Лизогуб ехали вместе и разговаривали:

– Вот, пане Солонино, и воля твоя, теперь делай что хочешь… вот правда так правда, что мы за свои гроши купили себе лихо.

– Да похоже на то, пане Лизогубе!

– Да чтобы враг душу мою взял, если я не правду говорю.

– Что ж делать…

– А кто?.. – спросил Солонина, покачавши головою.

– Да кто!

– Сами!

– Да таки все не без греха.

– А все Кочубей… он больше всех…

– Да и новобранец не дурен: всех обошел.

– Да и судья…

– Да и тот таки…

– А жаль старика…

– Жаль! Добрый батько был…

– Променяли голубя на ястреба…

– Повыклюет же он им слепые очи…
– Чтоб всем им сто ворогов за пазуху.
– Да хоть и двести вместе.
– От-то еще лучше!
– Да таки так!
– Да хоть и так!

Так-то вот оно и сплошь и рядом на белом свете, после всякой человеческой неправды: и близок локоть, да не укусишь!..

Надо было видеть бедного Кочубея на банкете у Голицына: стыд, страх, досада, обманутые надежды, укоры совести поминутно сменялись на лице его, он ничего не мог есть, вино не забирало его; напрасно Мазепа торжествующим голосом взывал к нему: «Куме, а куме». Куму легче бы вынести сто ударов татарской нагайки-дротянки, чем один торжествующий взгляд Мазепы. Кочубею чудилось, что все присутствующие перемигиваются и перешептываются на его счет. Оно так и было. Он сидел как на ножах. Стремглав умчался с банкета, когда все встали. Дорогою и дома преследовали его два грозных призрака: Самуйлович, благословлявший всех, и Любовь Федоровна, ужасная Любовь Федоровна!!!

VI

В 1666 году, когда в Переяславле вспыхнул мятеж против

гетмана Брюховецкого, казаки напали на укрепление, зажгли город в разных местах и начали резню. Пользуясь этим случаем, казаки Петра Дорошенка ворвались в Переяславль и начали грабить, что хотели. Жители принуждены были спасаться бегством, особенно женщины, которым в таких случаях не было никакой пощады: с бесчестием лишались они жизни, и всегда самым позорным образом.

Когда запылал Переяславский замок, жены и дочери знатных казаков, проводимые отчаянными жидами, уходили из города, платя им за спасение свое, за провоз в Канев, Трактемиров или Киев несметную сумму. Нередко убегавшие и их проводники попадались в руки казаков, и тогда не было уже никакого помилования – как одним, так и другим.

В числе женщин, спасавшихся бегством из Переяславля, была дочь знаменитого казака Кариенка, родственника, по жене, несчастному Самуйловичу. Отец Анны был в день ее побега убит, а мать поднята на копья и сожжена на огне.

Анну спас любимый ею казак, который препоручил ее старому своему знакомцу Иоселю, за провоз ее в Киев тот вперед взял две пригоршни червонцев.

Ночью под заревом страшного пожара переправились они через огненную Альту, а потом, проехав широкий Трубеж, скрылись в непроходимом лесу и, пробираясь среди чащи деревьев, держали в ту сторону, где пролегала дорога к Днепру. Утром увидели они очерчивавшиеся на небосклоне синею полосою Днепровские горы и чуть-чуть видневшийся на

высоте их Трактемиров.

Анна решила, приехав в Киев, осуществить давнишнюю свою мысль: остаться на всю жизнь в одном из тамошних монастырей; дорогою она мечтала о той непорочной, святой радости, которой будет наслаждаться, живя в тихих, безмятежных стенах обители и во всякое время посещая Святую Лавру и ее пещеры.

На третий день они выехали из Борисполя. Перед ними черною непроницаемою стеною тянулся сосновый лес; по двум другим сторонам желтый песок, как желтое море, терялся в голубом небе – и больше ничего; ни один предмет не повстречался им, который мог бы развлечь внимание. Медленно двигалась бричка по глубокому песку, и это еще более увеличивало нетерпение их скорее увидеть святой град.

Но вот над лесом на голубом небе загорелась яркая звездочка и скрылась за вершиною сосны; вот опять она горит, и лучи ее как будто рассыпаются на крест. Так, нет сомнения, видна Святая Лавра! Это сияет святой крест. И поспешно, по обычаю малороссиян, путницы выскочили из брички, пали ниц на землю и начали молиться.

Поздно вечером, когда выехали они из лесу, открылся перед глазами их во всей красоте великий святой град, построенный на горах, и несчетное число золотых глав храмов, блестевших как солнце; а кресты сияли словно звезды. Направо узнали они церковь Рождества Богородицы, в то время деревянную и весьма небольшую, налево золотоверхий Ми-

хайловский монастырь, а выше всех Святую Лавру. Направо, у подошвы горы, казалось, простирался в самый Днепр многолюдный Подол.

Днепр широкою голубою лентою опоясывал Киевские горы и далеко-далеко скрывался налево в густоте садов, среди которых белел Киево-Михайловский Выдубецкий монастырь, а направо за лесом мачт не видно было конца Киева.

Приехав в Киев, путницы остановились на Подоле, в низкой и ветхой хижине еврея, промышлявшего обрезыванием червонцев. До утра надобно было им остаться в этой хижине, хотя крайне этого не хотелось, но Иосель уговорил и обещал завтра сам отыскать им комнату поближе к Лавре. Нечего делать, надобно было согласиться, и, усталые с дороги, они бросились на постель, сладкий сон смежил глаза. А между тем Иосель рассудил, что лучше иметь у себя четыре, чем две пригоршни червонцов, и в ту же ночь продал всех трех малороссиянок польским панам; и в то время, когда невинные жертвы беспечно спали, приехали гайдуки, разобрали несчастных и повезли к своим ясновельможным, которых в то время весьма много съехалось в Киев по случаю предполагавшегося заключения вечного мира России с Польшею.

Анна была хороша собою. Смуглая, черные пламенные очи, лоб и нос – одна прелестная линия, под алыми губками – два ряда жемчужных зубов.

Граф Замбеуш, которому она досталась, окружил Анну роскошью и блеском. В первое время она в доме его была

не то что невольница, а как законная жена, для которой он ничего не жалел, что имел или что мог иметь, исполнял все ее требования, старался предупреждать малейшие желания. Будучи набожною, Анна требовала от графа, чтобы он подольше остался в Киеве, если уже судьба назначала ей навсегда расстаться с этими местами. Граф и это исполнил: он дал слово целый год прожить в Киеве; это утешало душевно страждущую Анну.

Одно только мучило набожную пленницу: она не могла посещать храмы и тайно молиться без бдительных аргусов – двух пажей графа, постоянно следивших за каждым ее шагом; все были твердо уверены, что при первом удобном случае Анна пренебрежет роскошью и блеском, окружавшими ее, и уйдет от графа.

Ревностный, или, лучше, безрассудный, папист, граф требовал, чтобы Анна приняла родное ему исповедание. Однажды он решительно сказал ей, что в таком только случае и может быть она его законною женой. С этого времени поселилась между ними вечная и непримиримая ненависть. Граф мог требовать этого от нее, ибо со дня ее заточения проходил уже десятый месяц, и Анна придумывала все средства, чтобы будущее дитя ее было окрещено в православном исповедании. Граф не подозревал этой мысли; конечно, он видел состояние пленницы, но все прочее было сокрыто от него; между тем, чрез посредство приближенных к ней малороссиянок, Анна, сказавшись заблаговременно больною, слег-

ла в постель, и потом, когда родила дочь, тайно, в то время, когда граф уехал с своими приятелями в окрестности Киева, она пригласила русского священника; и дочь ее, нареченная Юлиею, была окрещена в православном исповедании. По возвращении своем граф узнал об этом, и в тот же день торжественно, за городом, на вершине одной из самых высоких Киевских гор, повесил трех своих гайдуков и четырех женщин, находившихся при Анне; он пытался было удушить даже новорожденную, но крики и моления отчаянной матери укротили остервеневшего графа, не знавшего предела своей мести.

VII

Верстах в пяти от города стоял высокий замок на вершине довольно покатой горы, с трех сторон опоясанной неширокой, но чрезвычайно прозрачной рекой, по берегам ее прекрасными кущами росли, смотрясь в воду, перемешанные друг с другом белоствольные плакучие березы, липы, широколиственные клены и вековые дубы, а под тенью их, как яркий зеленый бархат, росла молодая травка; местами по реке порос зелеными кругами камыш, между которым спокойно плавали дикие утки или, воткнув длинную серую шею, кричал водяной бугай и прерывал безмолвие окрестностей. Желтая песчаная гора, кое-где поросшая ползучим кустарником, оканчивалась острою вершиною, на которой чернел

поросший мохом и даже кустарником, кое-где разрушенный временем замок. В нем смешались все стили, и вместе с этим не было ни одного настоящего, верного, правильного: безобразное соединялось с самым строгим и изящным вкусом, богатство украшений с жалкой простотою, удобность с неудобством; но по преимуществу можно было назвать замок этот готическим: высокие башенки с узкими, длинными окнами, свинцовые крыши, оканчивавшиеся острыми шпилями, на которых неумолкаемо скрипели флюгера, лепились одна подле другой на каждой стороне замка. Средняя башня, самая большая, возвышалась над прочими и оканчивалась чрезвычайно длинным шпилем, согнутым бурею в правую сторону; к концу его прикреплен был вырезанный из жести петух, также согнутый. Вокруг, ниже башен, устроена терраса; на ней некогда стояли часовые, оберегавшие замок от незваных гостей. Сверх этого широкая и высокая каменная стена с бойницами со всех сторон окружала замок; на стене стояли пушки; подъезд был с одной стороны, где устроен был подъемный мост, переброшенный через глубокую пропасть, на дне которой с ужасною быстротою мчалась по камням река и росли в несколько обхватов деревья, казавшиеся, если смотреть на них с моста, небольшими кустарниками.

Замок принадлежал польскому графу Иозефу Замбеушу, потомку некогда страшного по своим бесчеловечным поступкам графа Яна Замбеуша.

Граф Иозеф Замбеуш, лет под пятьдесят, плотный, крас-

нощекий мужчина, рыжие волосы и такие же усы, лицо покрыто морщинами, но все еще полное и здоровое, он более всего любил женщин, но был страстный охотник и охоту предпочитал всему на свете. Прекрасное ружье, умная, хорошо выученная собака были драгоценнейшие сокровища для него в мире, и за них он готов был отдать даже свою собственную душу, а червонцы давал всегда пригоршнями, не считая их. Он был страшный эгоист и хвастун. Жена его давно умерла, от нее он имел сына, служившего в королевской гвардии.

В этот-то замок граф приехал с Анной с Юлией, и со дня приезда для несчастной Анны настало время горчайшего страдания, время непрестанных слез и черной печали и вместе с этим время самого упоительного ее наслаждения: запершись в комнате с малюткою дочерью, она все свои мечты, все надежды, радости, утешения сосредоточивала в одной Юлии, она воображала ее прелестною невестою, выходящею замуж за знатного вельможу, но непременно за православного. Потом представляла Юлию матерью, окруженною детьми, а себя старушкой, ласкающей их. Часто мысли ее вдруг менялись, и она как будто видела перед собою Юлию в черной монашеской рясе с четками в руках; несказанно радовалась она тогда, искренне молилась Господу, чтобы Он даровал Юлии это блаженство, и, схватив ее, целовала, прижимала к сердцу и осеняла с молитвою крестным знамением. Страдалица-мать полагала, что дочь молитвами своими

искупит и ее невольный грех, ее вечный ропот на свою неволю и горькую участь. В таких сладких мечтах время мчалось, как только мчится быстро время, и незаметно золотое лето сменялось румяною осенью, осень белою зимою, а зима зеленою весною – и пятнадцатая весна наступила для ее дочери.

Юлия расцвела, как малороссийская роза.

Густые, светлые шелковистые волосы ее, по тогдашнему обыкновению в Польше, были перевиты сзади в виде корзинки зелеными листьями плюща и барвинком; белое нежное лицо оттенялось румянцем, едва заметным на щеках; прямой носик, маленькие коралловые губки скрывали ряды перламутровых зубов, черные глаза, осененные черными же длинными ресницами, по большей части были опущены в землю – знак скромности и сознание собственного достоинства; рост ее был немного выше среднего. Вот, по возможности, верное изображение прелестной наружности Юлии; но душа и сердце ее были еще прелестнее: Юлия наследовала во всей полноте преданность своей матери к Богу.

В самом начале граф Замбеуш не обращал никакого внимания на Юлию, она была для него какое-то позорное отвратительное существо, на которое он не мог смотреть без явного негодования и презрения. Он любил ее мать в цветущие годы ее молодости, как вообще подобные люди любят женщин привлекательных наружностью, которые служат предметом страстного упоения и разнообразия жизни для человека, погрязнувшего в тине чувственности, смотрящего на

мир с своей точки, с точки порочного наслаждения.

Притом, в замке графа, как и прежде, это было даже при жизни законной его жены, жили десятки женщин, похищенных в полках Гетманщины, привезенных из Кракова, купленных дорогою ценою у татар.

На воспитание Юлии он еще менее обращал внимания, и это невнимание сослужило величайшую пользу для нее: семена, посеянные матерью в сердце ее, возросли и если еще не приносили плодов, то, по крайней мере, роскошно цвели.

Постоянные игры, тысячи новых ежедневных забав, служивших для увеселения не только живших в замке, но и дальних его окрестностей; танцы, блестящие балы, на которых собиралась лучшая польская молодежь, охота, в которой принимали участие даже женщины самых знатнейших фамилий, не прельщали Юлию: она удалялась от всего этого, считала себя отверженною всем миром, всеми людьми и жаждала, искренне жаждала уединения с матерью и молитвы, искала единственно в Спасителе любви, – и нашла.

В самом деле: дочь преступления! Это прежде всего поражало сердце ее; дочь с презрением оставленной и забытой малороссиянки, беспредельно разделенной верой и нравом со всеми людьми, ее окружавшими; дочь, не получившая того воспитания и образования, которым так резко отличались от нее все прочие девицы; наконец, не только не любимая отцом, но отверженная им… могла ли она быть с прочими, могла ли она увлечься и наслаждаться суетностью, забыв

прямое назначение свое – терпеть, молиться и страдать? Нет, она видела преданность своей матери к Богу, она затвердила от нее, что счастливые часы только те, когда сердце стремится к Господу Искупителю, и когда даже все мысли, а не только дела, согласны с святыми евангельскими заповедями, – и так поступала по ее указанию, и была счастлива.

Смирение, прежде всего прочего, как и следовало быть, утвердилось в душе Юлии, а с ним вместе и христианское отвержение самой себя. Но это все было так, что она и сама не замечала этого в себе: часто думая о себе, она считала себя ничтожнейшим существом, жалкою девочкою, а все прочие люди казались ей с достоинствами, не доступными для нее. Но вместе с тем эти достоинства не восхищали ее, не очаровывали, не увлекали к подражанию, но казались тяжкими и постылыми. Удаленная от суеты света и людей, хотя она и жила среди всего этого, с утра до вечера под руководством матери, она приучилась читать и усваивать себе Евангелие, и чрез это чудесный мир, мир, не достигаемый для многих, может быть, и не воображаемый многими, открылся перед ней; и не только с радостью, но с явным презрением и ужасом Юлия уклонялась от суеты, поэтому нередко служила она предметом насмешек и даже брани для прочих, но это еще более увеличивало ее святое отчуждение.

VIII

У ворот графского сада, прилегавшего к замку, стоял, опершись на палку, седой старик нищий; под левою рукою была у него небольшая котомка, в которую он складывал куски хлеба, в правой – длинная палка; одеяние его было рубищем, он низко кланялся всякому прохожему: кто давал милостыню, за того молился, крестясь; кто проходил, не подавая ему, он и тех благословлял; в замке графа мало было подававших ему, никто не обращал на него внимания, однако же старик несколько часов кряду, иногда и целый день просиживал у ворот.

В этот раз нищий только что пришел, положил котомку и палку на землю, а сам сел на скамью, вдруг из ближней аллеи показалась в черном платье, с перламутровым крестиком на груди девушка; она перебежала мостик, перекинутый через довольно широкий ручеек, извивавшийся по саду, подошла к нищему и с ним вместе возвратилась в сад; потом через тенистую просадь поспешно прошли они и скрылись в лесу, соединенном с садом. Час, а может, и более, не возвращались ни девушка, ни старик; потом вдруг, как молодая серна, девушка перебежала в другом конце сада две аллеи и, испугавшись попавшегося навстречу ей чрезмерно толстого седого пана Кржембицкого, приехавшего к графу в гости, бросилась в другую сторону и, перебежав куртину, скрылась в замке.

Кржембицкий сперва преследовал девушку, но, видя, что не догонит ее, остановился и жадным взором смотрел ей вслед. Чрез несколько минут Кржембицкий вошел в залу, названную графом *королевскою*, в память того, что некогда Стефан Баторий, проезжая через Ровно, остановился в этом замке.

Зала эта была очень велика, по сторонам свод поддерживали двадцать четыре колонны с позолоченными капителями, три ряда окон, из коих первые из разноцветных стекол преимущественно голубого и розового цвета, ярко освещали всю внутренность. По стенам, разрисованным арабесками, стояли мраморные бюсты предков графа, а между ними вылепленные из алебастра, раскрашенные и раззолоченные гербы фамилии Замбеуша; у одной стены, прямо против главного входа, поставлена под бархатным навесом, обшитым золотою бахромою, колоссальная статуя Стефана Батория; на пьедестале было вырезано: «1573 год» и латинская надпись, гласившая, что в этот год Баторий пожаловал прадеду Замбеуша большое количество земли и денег за *храбрость и знатность фамилии*; последние слова, это было заметно, вырезаны позже: быть может, это было сделано по приказанию графа Иозефа, ибо надпись очень сообразна с его характером.

За статуей, по левую и правую сторону навеса, висели ружья, сабли, пистолеты, кинжалы, железная булава и два небольших древка, одно наверху с полумесяцем, а другое – с рыбой. Это были трофеи предков графа, отнятые у врагов.

Граф Иозеф, с правой стороны, подле древка с полумесяцем, которое, может быть, некогда служило турецкому или татарскому полчищу знаменем, повесил огромную голову медведя, искусно сохраненную, и ружье, которым он убил этого лесного князя, под головою на стене вырезал на латинском языке надпись: «Убивать медведей, волков и лисиц столько же трудно и славно, как побеждать турок, татар и казаков».

Железные стулья с вычурными высокими узористыми спинками стояли у стен вокруг залы; черные кожаные подушки их по бокам были обиты медными гвоздями с круглыми шляпками. Двери и подоконные доски – с выпуклыми резными изображениями различных битв, пиршеств, охоты, победителями или торжествующими героями представлены предки графа, это легко можно узнать по сходству лиц резных изображений с бюстами.

В растворенные двери залы виднелись другие комнаты, также богато убранные.

Граф Замбуеш сидел у окна и курил файку: коротенький черный мундштучок с пенковою трубкою, оправленною в серебро. На нем был малинового бархата кунтуш, на голове – небольшая турецкая феска.

В залу вошел Кржембицкий, короткий приятель графа, у которого пан жил несколько недель сряду.

– Что то за красавица у тебя, граф! – сказал пан Кржембицкий.

– То есть, не понимаю?

– Я говорю, что то за красавица твоя панна Юлия, дьявол возьми меня, если я видел лучше и милее ее девицу на свете.

– Где ты ее видел?

– Сейчас в саду, как маленькая птичка, с цветка на цветок перепрыгивала.

– А то пан Кржембицкий, еще я не знал, что у тебя горячее сердце, о то не худо и под старость!

– Этому лучший пример ты сам, граф!

Граф, довольный ответом Кржембицкого, захохотал во все горло.

– Ну, я отдам тебе Юлию, что ты мне дашь?

– Если бы ты, граф Замбеуш, был дьявол, я бы тебе и души своей не пожалел за Юлию, а как ты знатный граф и известный в целой Польше охотник, то я не знаю, что тебе дать!

– Я готов помириться с тобою на паре добрых борзых, пане Кржембицкий! – Граф захохотал.

– И две пары достану первейших гончих.

– Сейчас явится сюда Юлия, посмотрим-ка, пане Кржембицкий, как бьется у тебя сердце!

Граф захлопал в ладоши, и в залу вбежал небольшой молоденький негр с отрезанными ушами и носом; он был весь одет в красном.

– Сейчас чтоб была здесь панна Юлия!

Негр исчез.

– Я не терплю проклятой девчонки казацкой веры… и с матерью с утра до вечера читает да читает святые книги;

я добре дьявольское племя мучил и все делал, но нет, ничто не помогает: мать из Гетманщины, то от детей добра не будет.

– Ты, граф, не любишь казаков, а они храбрые воины.

– С бабами первейший народ в мире по храбрости, а с поляками на войне то первейшие трусы, и я с моими охотниками и собаками целую Гетманщину завоюю, диявол возьми меня, – правда!..

– Правда, граф, но в таком только случае, когда я буду полковником в твоем войске, а без меня ты завоюешь одних баб, казаки будут догонять тебя и, разбивши собачье войско твое, отнимут добычу, и ты ни с чем возвратишься в замок!..

– Пожалуй, я дам тебе чин генерала в моем собачьем войске!

– О то добре, пане, целый свет завоюем!

Негр явился в комнату Юлии; она с матерью о чем-то разговаривала.

Вся комната их была уставлена образами, и перед образом Пречистой Девы горела лампада, в углу стоял аналой, на нем лежал раскрытый молитвенник.

– Панна Юлия, тотчас иди к графу, он в зале!

– Зачем это, не увидал ли он меня, когда я была в саду? – спросила Юлия и сначала покраснела, потом побледнела и не знала, что ей делать. Наскоро поправила она рассыпавшиеся волосы, перевила их свежими зелеными листьями барвинка и побежала вслед за негром.

– Ну, что скажешь, пан Кржембицкий? – спросил граф, когда Юлия, потупив глаза, остановилась перед ним.

– Что ж мне сказать: панна Юлия так хороша собой, что нет лучше ее в мире.

На глазах Юлии навернулись слезы.

– Прочь, прочь, проклятое адское существо, прочь отсюда, чтобы и духа твоего не было слышно, а то сейчас вот на том дереве повешу! – закричал Замбеуш и застучал ногами об пол.

Юлия опрометью убежала.

– Не могу равнодушно смотреть, пане Кржембицкий, на это дьявольское существо, когда вспомню, как она воспитана матерью: живая до Бога лезет; дьявол возьми, пару добрых собак достань и бери ее, а не то так я затравлю ее собаками, а мать непременно повешу.

На другой день утром мать и дочь выбежали в сад и, осмотревшись во все стороны, поспешно побежали по просади к воротам, у которых, по обыкновению, стоял старик нищий; увидев бегущих, старик поднял котомку, взял палку и пошел в сад вместе с Анною и Юлиею; перебежав через лужайку, они скрылись в лесу и часа через два, не ранее, возвратились домой. На следующее утро то же самое; нередко старик нищий приходил и вечером, и всегда мать и Юлия встречали его, подавали ему милостыню. Графские гайдуки, а более всего женщины, стали замечать эти встречи, подозревали Юлию и мать ее в каких-то тайных замыслах, но то

были одни неверные догадки, и только.

Две невольницы графа видели, прогуливаясь утром в саду, когда нищий пошел вместе с Юлией в лес, сел с нею на пригорке и долго, долго говорил ей что-то с жаром, указывая часто на небо и прикладывая руку к сердцу.

Были и такие, в числе женщин, подсматривавших за Юлией, которые доказывали, что старик – отец Юлии; некоторые говорили, что это колдун, который гадает Юлии о будущей судьбе ее, и сами желали сблизиться с ним. Было много толков, но истины не было нисколько. Между тем женские языки нередко лепетали графу о таком отношении Юлии и ее матери к старику, и граф приказал строго присматривать за ними и узнать, что за человек нищий.

Прошло несколько дней, старик не показывался ни у ворот, ни в лесу, Юлия и мать ее не выходили в сад; и все вновь решили, что нищий был действительно бедняк, что он получил милостыню и, собрав хлеба и денег, ушел в другой замок. Но в это же самое время негр начал беспрестанно скрываться из замка и всегда перебегал через сад и лес. Начали подозревать негра, и в самом деле, он часто бегал в комнату Юлии, это донесли графу.

Замбеуш позвал негра, начал расспрашивать его о старике нищем, о Юлии и матери ее, но все его объяснения ничего не объяснили. Граф предоставил решение этого вопроса времени и обстоятельствам, но подтвердил вновь строго смотреть всем за Юлиею и ее матерью.

Вечером Анна и Юлия сидели в саду под березой; обе они были чрезвычайно грустны.

Долго молчала Юлия, подперев голову левою рукою, и, потом вздохнув, сказала:

– Мамо, мамо! Пошлет ли Бог нам счастливый день, когда мы будем молиться в Лавре… как бы я молилась… Мамо, мамо, скоро ли будем в пещерах!

– Молись Богу милосердному, молись, моя доню, молись серденько! – говорила мать, прижимая к груди дочь. – Бог даст, и будем в Киеве, тогда сама поведу тебя и в ближние и в дальные пещеры, будем в Софийском, отслужим молебен Варваре Великомученице и перстень тебе куплю. Молись только Богу!

– Ох, мамо, мамо! Когда б ты знала, как болит мое серденько, и сама не знаю отчего, ты знаешь, я Богу молюсь, а все так тяжко, так тяжко, боюсь чего-то, и сама не знаю чего!

– То так, моя доню, нечистый мутит нашу душу, хочет искусить нас; положи Матери Божией десять поклонов, когда будешь ложиться спать, и пошлет она тебе радость и утешение.

– Отчего я тогда не могла молиться, как была в Киеве, отчего мне не было тогда хоть пять лет, я бы, мамо, осталась в Киеве, и ты б не покинула меня; мы жили бы в Божием граде!..

– Молчи, доню, да молись!..

– Молюсь и буду молиться, мамо!.. А завтра, когда наши

поедут на охоту, я пойду к нему…

– Пойди, доню, от меня поклонись, скажи, что скоро, скоро Бог вынесет нас отсюда!

Они встали и пошли в замок. Из кустов, соседних с деревом, под которым сидели мать и дочь, выбежали две графские любовницы и хохоча побежали в замок.

IX

Граф Иозеф Замбеуш с коротенькою файкой в зубах, заложив красные жилистые руки в широкие полосатые шальвары, без кунтуша, в рубахе красного цвета, ходил по широкому псарному двору, бранил псарей на чем свет стоит и обещал по сто пуль вогнать в лоб каждого, который осмелится хотя пальцем тронуть его собаку. Псари, стременные и прочие чины охотничьей кавалерии Замбеуша приготовляли все к отъезду в поле.

Три месяца прошло, как граф не полевал: всегда как только собирался, что-нибудь да помешает ему; и Замбеуш рассказывал всем, как чрезвычайное происшествие, что он так долго не был на охоте.

– За три месяца мыши полевой не убить!.. А?! Что скажет всякий, кто знает меня?! А?!. Граф Замбеуш с ума сошел – три месяца не был на охоте, – подумает каждый охотник! Да так оно и есть… Что же мне делать, когда нет ни одного порядочного стрелка, который бы попал в слона в пяти шагах,

а не то что в лисицу или волка; что ж мне делать? Я стыжусь сказать это моим соседям… Как, скажут они, граф Замбеуш, первый охотник в Волынии, а нет у него стрелков! А, дьявол возьми, это истинная правда!..

Граф докурил трубку, вынул ее изо рта, закрутил рыжие усы свои и, одной рукой помахивая чубучком, а другою лаская борзую, выходил из псарни; навстречу ему неожиданно шел граф Жаба-Кржевецкий, приятель Замбеуша, сходный с ним и характером и наружностью. Жаба был пониже ростом Замбеуша.

Замбеуш рассчитывал, что сын его женится на старшей дочери Жабы, и поэтому-то дружба их была тесная.

– Я к тебе, граф Иозеф, прямо от пана Любецкого: что за собака добрая у него Пулкан, знаешь, граф Иозеф, во всей Польше нет подобной, то первая из первых собак во всем крае! А черт знает проклятого пана Любецкого, откуда он выкарабкал это сокровище, или он душу свою продал дьяволу за Пулкана! – это просто сокровище, а не собака, и жены не нужно вернее и умнее Пулкана; ну просто я без ума, граф, от этой собаки!

– Да что ты говоришь, граф Жаба, я знаю Пулкана, ну, добрая собака, да уж не то, что ты говоришь, в целом крае не отыскать, у меня Подстрелит и Коханка такие же собаки, а я тебе, граф Жаба, скажу, что Коханки ни за что в мире не отдам, для меня не может быть ничего милее в жизни, чем Коханка, ей же, Богу милосердному известно, что я говорю

тебе правду!

– Знаком ли с тобою пан Любецкий?

– А то дьявол возьмет душу его, чтобы я знался с Любецким: его предки камни клали, когда прадед мой строил замок, а я чтоб дружбу с ним заводил, – черт косматый его возьмет!..

– Но то, граф, не дело говоришь, пан Любецкий бедный человек, но древней шляхетной фамилии!

– Когда род Пулкана шляхетный, то и пан Любецкий шляхтич – ибо он сам собачьей породы, это я наверно знаю, то истина!

– Он славный охотник, прошлую зиму сам четырех вепрей убил, а волков и лисиц без счета.

– Все пустое говоришь, граф Жаба, я не убил двух вепрей, а чтобы поганый холоп убил четырех!.. Не говори этого, ты лучше дай мне пистолет, пули и скажи: на, граф Замбеуш, заряди пистолет и выстрели себе в лоб, то я скорее соглашусь это сделать, нежели слушать такой вздор; ты безжалостно мучишь меня, граф Жаба.

– Ты, граф Замбеуш, вели гербы свои на дверях и на кунтушах войска твоего почистить, а то что-то достоинства твои не всем ясно видны!

– До гербов моих никому нет дела, я сам знаю мои достоинства!

– Но другим-то они не ясно видны! – сказал раздосадованный Жаба.

– В гербе моем нет пресмыкающихся, которые скачут, там голова шляхетного оленя с рогами.

– Осла с большими ушами! – с досадою сказал довольно громко граф Жаба, поняв колкую насмешку Замбеуша, относившуюся к его фамилии, поспешно ушел из псарни, сел в свою одноколку и поскакал, не сказав ни слова графу Замбеушу.

Граф Иозеф послал вслед графу Жабе тысячу проклятий и чертовщин и, рассерженный, ушел в замок. Не прошло получаса, как в окно Замбеуш увидел, что по дороге к замку тащится целый обоз жидовских брик, обтянутых белою холстиной; по мере приближения фургонов Замбеуш заметил, что за каждою брикою привязаны своры собак; это так несказанно обрадовало его, что он приказал немедленно готовиться к выезду на охоту. Вышел на крыльцо и здесь от радости свистел, прыгал, пел песни, от нетерпения махал рукою, давая знать едущим, чтобы они скорее приближались.

И вот, на широкий двор въехало несколько бричек, запряженных по четыре тощих коней, управляемых несчастными хилыми возницами, которые немилосердно хлыстали длинными бичами по бокам изнуренных животных.

Собаки лаяли и визжали, эта суматоха была приятна графу. В бриках, свернувшись, лежали усталые и заболевшие в дороге собаки и наложены были целые горы всяких охотничьих припасов. Когда первая бричка подъехала к каменному столбу, к которому обыкновенно привязывали вершники ло-

шадей, с фургона поспешно выскочил мужчина лет тридцати пяти, одетый в охотничью куртку синего цвета, в широких красных шальварах с белыми серебряными лампасами и вооруженный, в полном смысле слова, с ног до головы: при нем были две сабли, три или более разной величины кинжала, пистолет, патроны в красном сафьянном патронташе висели через плечо и десятки цепочек вились по груди и по бокам. Гость был брюнетом, длинные черные усы, огромные густые бакенбарды делали лицо его странным и вместе с этим очень интересным.

Закрутив усы, поправив сабли и пристукнув правою ногою так сильно, что едва от сапога не отлетела шпора, гость подошел к графу.

Начались поклоны, а потом дружеские объятия и горячие целованья. Гость был Любецкий, которого за час тому граф называл холопом, дьяволом и прочее.

– Я слышал, что по всей Польше, граф, славишься своею охотою; вот я приехал к тебе с моими сворами: не угодно ли будет твоему графскому достоинству посмотреть, какова и у меня охота. Граф Жаба-Кржевецкий был у меня сегодня и взял с меня честное слово, что я заеду сегодня к тебе; вот я и заехал, не поедешь ли, граф, со мною на охоту?

Граф, прельщенный огромным числом собак, которые, как нарочно, были от первой до последней превосходны во всех статьях, не знал меры восхищению; он тысячу раз обнимал и целовал Любецкого, называл старым другом и при-

казал позвать к себе пана Кржембицкого.

Явился пан Кржембицкий.

– Вот, пан Кржембицкий, украдь или отвоюй у пана Любецкого пару собак, то я тебе отдам, что ты просил у меня, – с веселостию сказал Замбеуш.

– Добре, бардзо добре, граф, достану, я давнишний друг и приятель Любецкого, мы помиримся с ним, а собаки будут твои!..

Любецкий смеялся:

– Не думаю, чтобы твой Пулкан был лучше моей Коханки, пан Любецкий!

– Попробуем!

– Через час будем на охоте.

– Добре!

В это самое время нищий показался у ворот замка, а вслед за ним Анна; это не ускользнуло от взора графа. Дав знать рукою двум стоявшим подле него стрелкам, чтобы схватили Анну, Замбеуш, рассерженный, вбежал в комнату Юлии, которая в эту минуту, стоя на коленях в углу перед образом, молилась. Граф ударил ее два раза кулаком по голове, и девушка без чувств упала наземь. Кровь полилась у нее изо рта; Замбеуш выбежал навстречу к стрелкам, которые вели Анну, и приказал связать ее.

Из милосердия одна старуха, прислуживавшая Анне и Юлии, подняла несчастную жертву ненависти графа, умыла ей лицо и положила в постель. Юлия скоро пришла в чув-

ство. Женщина сказала Юлии, что мать ее связанная – в подземелье. Это не поразило Юлию, выросшую посреди таких ужасов и жестокостей и привыкшую с детства еще смотреть на все в воле Божией и сердечно предаваться ей; у Юлии еще достало столько твердости и присутствия духа, что она наскоро надела черное платье и вышла на крыльцо в ту самую минуту, когда псарня готовилась тронуться в путь.

На крыльце стоял граф в коротеньком бархатном полукафтанье алого цвета. Он и другие не заметили Юлии.

Вокруг графа Замбеуша толпились пан Кржембицкий, пан Любецкий, пан Цапля-Жидомор, пан Загреба и еще несколько шляхтичей и восторженно хлопотали о своем псарном походе. Замбеушу подвели турецкого белого жеребца, он вскочил на него, отъехал несколько шагов вперед и затрубил, давая знать, чтобы все двинулось.

Одних охотников в свите Замбеуша было более двухсот, собак несчетное множество. За всадниками тащилось несколько фургонов, и в одном из них лежала связанная полумертвая, несчастная Анна, а в предпоследнем фургоне, связанные, в железной клетке два волка и лисица. Юлия поклонилась матери, благословила ее в слезах, упав на колени, провожала ее глазами, пока можно было видеть. Сердце ее разрывалось. Когда уже все уехали, незаметно подошел к ней старец, что-то сказал ей, и они поспешно вышли за ворота замка и скоро скрылись из вида.

Среди разноцветной толпы резко отличался граф на бе-

лом скакуне; он быстро мчался впереди всех или осаживал коня и, оставаясь сзади, с заметным нетерпением окидывал взором многолюдный охотничий стан.

По правую сторону его ехал негр, через плечо у него висела серебряная бутыль, наполненная водкой, которую граф пил для большей отваги во время охоты и потчевал отличившихся охотников.

Граф был, однако, скучен и сердит, впрочем, это нисколько не препятствовало веселию, крикам и шуму прочих ехавших.

Долго гарцевали они по зеленой высокой траве.

Вдали навстречу графу показался в повозке несчастный рыжий еврей; увидев скачущую перед собой кавалькаду, он хотел своротить с дороги, но при повороте сломилася в телеге ось, и он должен был остаться на месте; подъехал рассерженный граф, выстрелил из пистолета в коня и убил его, еврея приказал связать и положить в бричку. Приказание его тотчас было исполнено.

Приблизились к леску. Граф дал знак, чтобы выпустили одного из двух волков; развязали зверя, приготовили Пулкана и Коханку. Вырвавшийся на свободу волк побежал вдаль, за ним два соперника, Коханка и Пулкан, весь стан занимала мысль: кто выиграет, чья лучше собака?

Граф, горя нетерпением, кричит, трубит, скачет вперед. Пан Любецкий – тоже; охотники рассыпались по полю в разные стороны, поднялась тревога…

Вот Пулкан отстает, волка догоняет Коханка. Граф кричит от восторга, но миг – увертливый волк своротил в сторону, Пулкан устремился вслед за ним стрелой, и волк не успел еще сделать несколько скачков, как был уже под Пулканом, Коханка далеко отстала от него и даже не побежала разделить добычу с своим соперником.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.